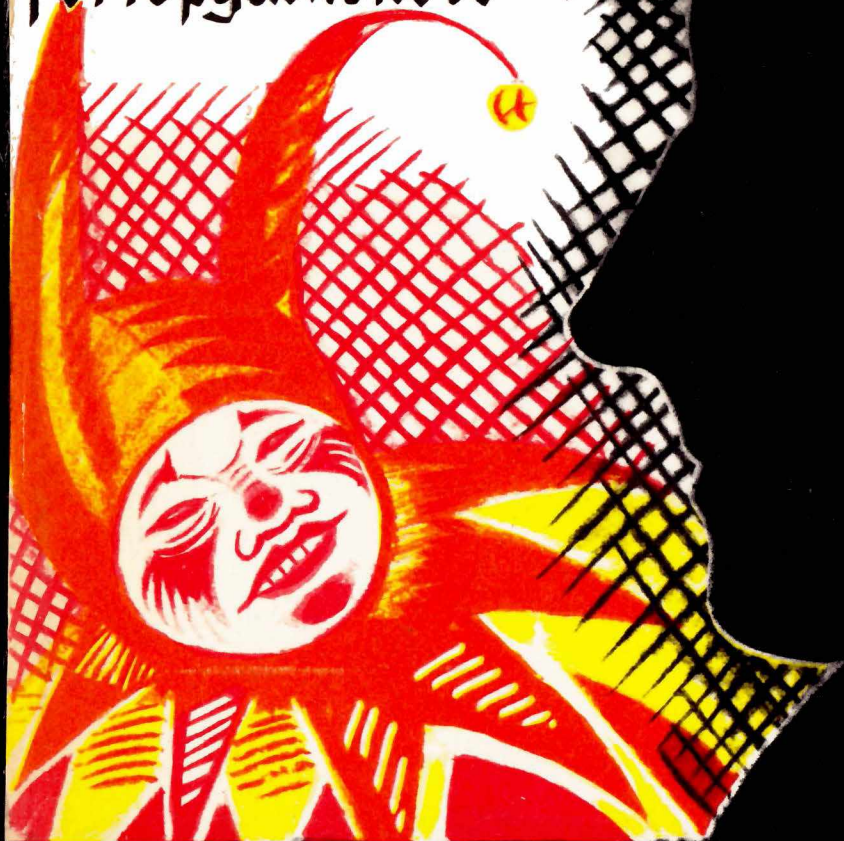


СТЕФАН ЦВЕЙГ

Триумф и Трагедия
Эразма
Роттердамского



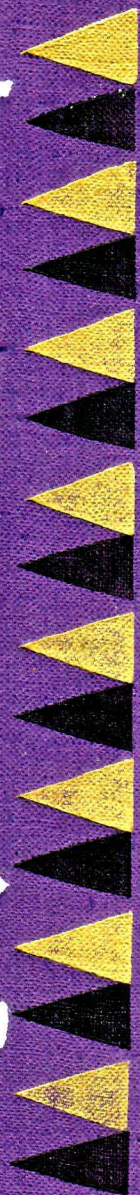
Стефанъ Вейт

Триумфъ

и
Трагедия

Эразма

Роттердамского





ERASMI-ROTTER-
DAMI.



Эразм
Роттердамский
1469 — 1536



Stefan Zweig

TRIUMPH UND TRAGIK DES ERASMUS
VON ROTTERDAM

1958. S. Fischer Verlag

СТЕФАН ЦВЕЙГ



Триумф
и трагедия
Драмы
Роттердамского



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1977

1+И(Австр)
Ц26

Перевод с немецкого
М. С. ХАРИТОНОВА

Вступительная статья и примечания
проф. **Б. И. ПУРИШЕВА**

Художник
Л. П. ЗУСМАН

Шрифтовое оформление
Р. КОКОНОВОЙ

70803—426
Ц ————— 308—77
М101(03)77

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.

об Эразме
Роттердамском,
его времени
и книге
Стефана Цвейга

Стефан Цвейг написал увлекательную и, можно сказать, проникновенную книгу о выдающемся нидерландском гуманисте эпохи Возрождения Дезидерии Эразме Роттердамском (1469—1536), которого наши читатели хорошо знают как автора «Похвалы глупости» и других произведений, привлекающих блеском ума и остротой мысли. На рубеже XV и XVI веков в течение ряда десятилетий Эразм пользовался огромным влиянием в передовых кругах Европы. Его слова ценились на вес золота. В них вопло-

щался дух новой ренессансной культуры, победоносно шествовавшей по европейским странам. Основы этой культуры были заложены еще в XIV веке в Италии, в творениях Петрарки и Боккаччо — первых великих гуманистов нового времени. Там начался процесс освобождения человека от средневекового мировоззрения, подчиненного церковной догме и сословно-корпоративным нормам. Там классическая древность, озаренная языческими мифами, впервые стала боевым знаменем гуманизма, школой эстетического совершенства и высокой человечности. Со второй половины XV века возрожденческая культура широко распространяется по Европе, чтобы в XVI веке выдвинуть таких гигантов, как Рабле, Сервантес, Шекспир, Коперник и Бэкон.

Когда Эразм Роттердамский выступил на литературную арену, еще не было ни Сервантеса, ни Шекспира. Правда, с 1532 года уже начал выходить отдельными книгами роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», но Эразм не дождался его окончания. В Англии был Томас Мор, близкий друг Эразма, замечательный ученый и мыслитель, создатель «Утопии» (1516) — первого романа, утверждавшего идеи утопического социализма. Немало было умных, образованных, преданных делу гуманизма людей в Германии, с которой Эразма связывали тесные духовные узы. Один из немецких гуманистов, темпераментный Ульрих фон Гуттен, радуясь успехам

новой культуры, восторженно писал в 1518 году: «Какая радость жить! Науки процветают, умы пробуждаются; ты же, варварство, возьми веревку и приготовься к изгнанию» (из письма к В. Пиркхеймеру).

Не один Ульрих фон Гуттен думал подобным образом. В начале XVI века в атмосфере больших и радостных надежд новая гуманистическая культура действительно одерживала многочисленные победы над косными силами уходящего средневековья. Умы повсеместно пробуждались, обновленная усилиями гуманистов наука уверенно теснила обветшавшую средневековую схоластику, которая для ратоборцев гуманизма являлась одним из наиболее характерных воплощений ненавистного им «варварства».

И конечно, вполне реальную Европу начала XVI века, а не сказочную Утопию имел в виду восторженный почитатель Эразма гениальный французский гуманист Франсуа Рабле, когда он в своем романе словами великана Гаргантюа восхвалял успехи просвещения: «Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища, так что, на мой взгляд, даже во времена Платона, Цицерона и Папиниана¹ было труднее учиться, нежели теперь, и скоро для тех, кто не понаторел

¹ Э м и л и й П а п и н и а н (около 150—212) — знаменитый римский юрист.

в Минервиной школе мудрости, все дороги будут закрыты».

При этом современники хорошо понимали, какую огромную, более того — ведущую роль в этом замечательном культурном перевороте играл Эразм Роттердамский. Его учеников и единомышленников без труда можно было встретить в Нидерландах и Германии, в Англии и во Франции, в Италии и в Испании, в Венгрии и в Польше. Будучи голландцем по происхождению, Дезидерий Эразм не принадлежал какой-то одной стране, он принадлежал всей передовой Европе. Его литературным языком был доведенный до высокого совершенства классический латинский язык, отличавший образованного гуманиста от профана и дававший возможность свободно беседовать с любым культурным человеком из любой страны. В течение длительного времени Эразм являлся признанным главой европейских гуманистов, подобно тому как в XVIII веке признанным главой европейских просветителей был Вольтер.

Но слава Эразма основывалась, конечно, не только на его поразительной учености, на том, что он был замечательным знатоком античных текстов, тонким филологом, умным и дальновидным педагогом. Эразму суждено было стать властителем дум потому, что всей своей неутомимой деятельностью он содействовал освобождению человеческого духа от сковывающих

вековых пут, уверенный в том, что с духовного раскрепощения должно начаться великое обновление мира, погрязшего в невежестве и несправедливости. Веря в прогресс, но не будучи сторонником социально-политических катаклизмов, он все свои надежды возлагал на могучую силу человеческого разума, ясный свет которого разгонит наконец тьму неразумия и сокрушит такие его уродливые порождения, как религиозный фанатизм, безумие войны, бессердечный эгоизм и все, что несовместимо с идеалом человечности.

Конечно, в воззрениях Эразма немало наивного и утопического, но его уверенные слова должны были прозвучать и найти отклик в умах и сердцах людей, вступавших в эпоху Возрождения, которую Ф. Энгельс не без основания назвал «величайшим прогрессивным переворотом из всех пережитых до того времени человечеством». Эразм был среди тех, кто «открывал» человека и вселял веру в его огромные возможности. Но ведь как раз апофеоз человека, выраженный в философии, литературе и искусстве, и являлся самым ярким проявлением той великой эпохи. Именно в эту сторону был обращен героический энтузиазм всех выдающихся мастеров ренессансной культуры.

При всем том Эразм вовсе не был прекраснодушным мечтателем, оторванным от окружающей жизни. Его усилия и труды всегда были направлены на конкретные цели. Все, что он

делал, должно было приносить пользу людям, должно было укреплять и расширять ту «республику ученых», которая для Эразма была равнозначна новому гуманному миру Разума и духовной Гармонии. Он ясно видел темные стороны реальной жизни и смело указывал на них в «Похвале глупости» и в «Разговорах запросто». У него был острый глаз. Его зарисовки и характеристики поражают четкостью и реалистической точностью, подобно произведениям Ганса Гольбейна и нидерландских мастеров. И вряд ли прав Стефан Цвейг, утверждающий, что все, что творится в подлунном мире, известно Эразму только «через посредство литер, букв». Бесспорно, в жизни Эразма книги и манускрипты играли огромную роль, но ведь Эразм не вел жизнь хмурого затворника, он много странствовал по Европе, встречался со многими людьми, представителями различных общественных кругов.

Он непосредственно сталкивался с прозой жизни, окружавшей его со всех сторон. На это указывают хотя бы многочисленные письма Эразма, представляющие большой интерес для изучающего духовный и бытовой уклад тогдашней Европы. И как раз потому, что Эразм имел ясное представление о недостатках и пороках мира, он стремился к его обновлению.

Но идея широкого обновления мира должна была распространиться и на религиозно-церков-

ную сферу, которая во времена Эразма продолжала занимать большое место в жизни европейских народов. Ведь даже из идеальной Утопии не изгонял религию Томас Мор. Не изгонял ее из царства мудрых великанов и Франсуа Рабле. Не посягая на права католической церкви, Эразм вместе с тем хотел, чтобы она «очистилась» от многочисленных пороков, глубоко укоренившихся в житейском обиходе. Ради этого он призывал вернуться к заветам раннего христианства, утверждавшего на земле, как ему представлялось, мир, любовь, доброту, кротость, снисходительность, скромность и чистоту. В религии он хотел найти не схоластические умозрения и не ветхую мишуру церковных обрядов, но высокий нравственный идеал, сливавшийся с нравственным идеалом гуманизма.

Нет сомнения в том, что всей своей неустанной деятельностью Эразм прокладывал путь Реформации. Только она представлялась ему как некое нравственное преобразование мира, когда будут изгнаны нелепые предрассудки, схоластическое суемудрие, любые виды мрачного фанатизма, стяжательство, унижающее человека, и прочие проявления «неразумия».

Реформация началась сперва в Германии, а затем и в других североевропейских странах. Но это была совсем не та Реформация, о которой мечтал Эразм. Она не только не погасила пламя религиозного фанатизма, но раздула его до

крайних пределов, превратив в пожар, который беспощадно сжигал и католические монастыри, и нежные поросли гуманистической культуры.

Почему так случилось? Почему благородное усердие великого гуманиста не привело к намеченной цели? В чем заключалась его ошибка? Она заключалась в том, что реальный мир был гораздо сложнее мира, существовавшего в представлении Эразма. Правда, Эразм хорошо понимал, что окружающий мир вовсе не идиллический, что его раздирают глубокие противоречия.

Но для Эразма эти противоречия сводились к противоречию между разумом и неразумием, культурой и варварством, образованностью и невежеством. Стоило только умножить культуру и потеснить варварство, как перевес оказывался на стороне разума и люди вступали в счастливую пору гармонии и благоденствия.

Впрочем, чрезмерно доверчивым Эразм все-таки не был. Еще в «Похвале глупости» (1509) указывал он на то, что путь человечества и, в частности, путь исторического прогресса далеко не всегда совпадает с путем разума. Но идти он стремился именно по пути разума и других призывал дружно следовать за ним.

Между тем трагический разлад, царивший в жизни, вовсе не сводился к противоречию между разумом и неразумием. Все отчетливее обозначались социальные конфликты, готовые пе-

рейти в открытую борьбу. Особенно накалилась обстановка в Германии к началу XVI века. Доведенное до отчаяния крестьянство ненавидело крупных и мелких феодалов, сдиравших с него семь шкур. Бюргерство тяготилось рыцарским и княжеским самоуправством. В свою очередь обедневшее и утратившее былое значение рыцарство завидовало преуспевавшему городскому патрициату и с ненавистью относилось к княжескому деспотизму. Городское плебейство враждовало с бюргерством, обладавшим цеховыми привилегиями, и ненавидело всех толстосумов, стоявших на более высоких ступенях социальной лестницы. Обстановка в стране была крайне напряженной. Глубокие социальные противоречия то и дело вырывались наружу. Многие предчувствовали приближение грозных событий. Еще в конце XV века немецкий поэт Себастиан Брант в сатирико-дидактическом «зерцале» «Корабль дураков» (1494) взволнованно восклицал: «Время близится! Близится время! Я опасаясь, что антихрист уже неподалеку». А несколькими годами позже, в 1498 году, великий немецкий художник Альбрехт Дюрер обнарудовал цикл своих замечательных гравюр на дереве — «Апокалипсис»*¹, наполненных ощущением надвигающихся потрясений.

¹ Здесь и далее знак * отсылает к постраничным примечаниям в конце книги.

Итак, в начале XVI века Германию раздирали глубокие социальные противоречия. Но был один пункт, в котором сходились интересы самых различных и даже враждебных общественных кругов. Это была ненависть к римско-католической церкви, которая тяжелым бременем лежала на немецких плечах. Пользуясь политической слабостью Германской империи, в которой государственная власть только номинально принадлежала императору, папский Рим стремился выкачать из нее как можно больше денег. Для этого в ход были пущены все средства, в том числе и продажа индульгенций, то есть «отпущение грехов». По отношению к крестьянам католическая церковь, будучи крупнейшим землевладельцем Германии, вела себя как жестокий и алчный крепостник. Бюргерству она представлялась чрезмерно дорогой и вдобавок чрезмерно феодальной. Рыцарство и даже часть князей с вожделием взирали на церковные земли, надеясь с их помощью округлить свои владения. Поэтому, когда Мартин Лютер (1483—1546) 31 октября 1517 года прибил к дверям виттенбергской церкви свои тезисы, направленные против торговли индульгенциями, страну охватило сильное волнение. И началась Реформация, которую Энгельс рассматривает как первую европейскую буржуазную революцию, «сообразно духу времени» проявившуюся «в религиозной форме — в виде Реформации».

Однако слова Лютера о духовной свободе, его призыв низвергнуть Новый Вавилон и очистить Германию от папистов по-разному были восприняты в различных общественных кругах. Сторонники умеренной бюргерской реформы, вождем которой стал Лютер, не стремились выходить за пределы собственно церковной реформы. Зато франконский рыцарь Ульрих фон Гуттен, мечтавший о государственной консолидации Германии, а также о возвращении рыцарскому сословию его бывшего значения, услышал в словах Лютера призыв к освобождению Германии от иноземного гнета и княжеской тирании. В 1522 году при его деятельной поддержке ландаусский союз рыцарей поднял знамя восстания против курфюрста архиепископа Трирского, но восстание окончилось неудачей, и Гуттену пришлось бежать в Швейцарию.

Едва успели отгреметь выстрелы рыцарского восстания, как в 1525 году вспыхнула Великая Крестьянская война, до основания потрясшая Германию. В этом могучем антифеодальном движении приняли участие широкие массы крестьян и городских плебеев. Реформация бюргерская превратилась в Реформацию народную, вызвав свирепую ярость Мартина Лютера, вождя бюргеров. Особую ненависть он питал к наиболее радикальным деятелям народного движения, которые, подобно Томасу Мюнцеру, стремились осуществить глубокие социальные преобразова-

ния, вышедшие за пределы собственнического уклада. Напуганное неожиданным размахом народного движения, бюргерство отшатнулось от народной реформы. Капитулировав перед княжеским деспотизмом, оно помогло реакционным силам одержать верх над освободительным антифеодальным движением. Революция была потоплена в крови. Началась пора свирепой феодальной реакции.

Понятно, что в этой напряженной, более того — трагической обстановке Эразм Роттердамский не мог себя чувствовать хорошо и уверенно. Ему должно было казаться, что Госпожа Глупость, несмотря на все его усилия, внезапно необычайно выросла и окрепла. Он хотел открыть людям Евангелие любви и мира, а оно в руках реформаторов превратилось в окровавленный меч, сеющий раздоры и гибель. Фанатизм и тирания не отступили перед лицом мудрой богини Минервы. Ведь даже Томас Мор, обаятельный, благородный, честный Мор, в 1535 году, когда Эразм был еще жив, окончил свою жизнь на плахе по воле короля-тирана. Эразм не мог не скорбеть, видя все это.

Но при всех его человеческих слабостях, при всем его крайне одностороннем подходе к миру Эразм продолжал оставаться великим. Его величие в его удивительной стойкости, в том, что он не отрекся от своих гуманистических принципов. Недаром Лютер укоризненно отме-

чал, что «человеческое значит для него больше, чем божественное». В тех условиях это был настоящий подвиг.

Замечательный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881—1942) создавал свою книгу «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1935) в обстановке поистине трагической. В Германии в 1933 году к власти пришел нацизм, открыто глумившийся над идеалами и заветами гуманизма, которые всегда были так дороги Цвейгу. На смену буржуазному либерализму, правда весьма скудному и ограниченному, пришел тоталитарный режим, решительно упразднивший все буржуазно-демократические свободы, жестокий, кровавый, нетерпимый. Универсальной государственной доктриной стал нацистский фанатизм, не оставлявший места для духовной эмансипации человека.

В этих условиях Стефан Цвейг не случайно обратился к Германии начала XVI века, когда решались судьбы немецкого гуманизма, натолкнувшегося на фанатизм Реформации и феодально-католической реакции. Заглядывая в прошлое, можно было отчетливо различать такие приметы современности, как глубокий кризис привычных общественных отношений, задушенная народная революция и столкновение безликого фанатизма с либерально-демократическими принципами. Конечно, героем книги мог бы стать и Ульрих фон Гуттен, и Мартин Лютер, и Томас

Мюнцер. Каждый из них этого вполне заслуживал. Но Стефану Цвейгу был несравненно ближе Эразм Роттердамский. Он и стал его подлинным героем.

Подобно Эразму, Цвейг мыслил не столько национальными, сколько интернациональными категориями. Гуттен и Лютер пеклись об интересах Германии. Эразм, этот стойкий «гражданин мира», заботился о благе великой «республики ученых», не имевшей ясно намеченных границ. Подобно Эразму, Цвейг сторонился политических партий и их, как ему казалось, ограниченного практицизма, возлагая все свои надежды на духовный прогресс человечества и его нравственное совершенствование. Ясно видя темные стороны жизни и страдания людей, он хотел быть добрым другом и наставником страждущих, окрыленный заветами гуманистического оптимизма, хотя с годами его творения приобретали все более горький и даже трагический характер.

Подобно Эразму, Цвейг всей душой ненавидел опустошительные войны, порожденные корыстными побуждениями господствующих классов и сословий. В годы первой мировой войны он решительно присоединил свой голос к горячим призывам Ромен Роллана в защиту мира и человечности, а несколько позднее стал участником международной группы «Кларте», организованной в 1919 году Анри Барбюсом, куда входили наряду с Барбюсом Ромен Роллан,

Анатоль Франс, Герберт Уэллс, Поль Вайян-Кутюрье, Томас Гарди и многие другие противники национализма и империалистических авантюр. Когда Цвейг писал свою книгу об Эразме Роттердамском, немецкий фашизм еще не успел развязать вторую мировую войну, поглотившую миллионы человеческих жизней, но писатель не сомневался в том, что фашизм неизбежно ведет к войне, и в своей книге не упускал случая подчеркнуть, как справедливо великий гуманист Эразм осуждал воинственный пыл больших господ.

Даже личная судьба Стефана Цвейга в чем-то совпадала с судьбой великого гуманиста XVI века. Им обоим пришлось менять города и страны, спасаясь от напора неумолимого фанатизма. В годы первой мировой войны С. Цвейг эмигрировал в нейтральную Швейцарию; вернувшись в 1919 году в Австрию, вынужден был незадолго до захвата Австрии нацистской Германией в 1938 году эмигрировать в Англию, а затем через Нью-Йорк (1940) перебраться в Бразилию (1941).

Их обоих сильно потрепали жестокие вихри истории. Но душевную стойкость они проявили при этом не одинаковую. Триумфом Эразма Стефан Цвейг справедливо считал победоносное шествие новой гуманистической культуры, горделиво возвышавшейся над побежденным «варварством». В то время к голосу Эразма прислу-

шивались во всех концах цивилизованного мира. Его и называли почтительно «наставником мира». Трагедия Эразма началась тогда, когда век стал «буйным и бешеным», а ясная и спокойная мудрость великого гуманиста заглушалась грохотом социальных и религиозно-политических катаклизмов. И заключалась эта трагедия не столько в том, что «наставник мира» внезапно стал как-то странно одинок, но в том, что на глазах Эразма разрушалось царство разума и гармонической человечности, которое он во всеоружии таланта и огромных знаний столь упорно, столь тщательно воздвигал на протяжении многих лет.

Аналогичную душевную драму пережил и Стефан Цвейг. У него эта драма началась еще в годы первой мировой войны. А потом фашизм. Цвейг сопротивлялся как только мог. Но слишком глубоки были его душевные раны. Он уже не находил в себе сил, чтобы терпеливо ждать окончания великой борьбы, а главное, он, видимо, уже утратил веру в созидательные возможности того гуманистического либерализма, которому он стремился служить на протяжении всей жизни. И в 1942 году в далекой Америке в самый разгар мировой войны он лишил себя жизни.

А Эразм? При всех его несомненных человеческих слабостях, особенно если учесть, что он, в отличие, например, от Мартина Лютера, не

обладал ни темпераментом, ни талантом трибуна, воителя-громовержца, Эразм до конца проявлял стойкость, непоколебимость в отстаивании своих идеалов. В 1524 году он счел нужным вступить в полемику с самим Лютером, необузданным спорщиком, могучим оратором по вопросу о свободе человеческой воли, по вопросу, который разделял католицизм и лютеранство и в то же время являлся краеугольным камнем гуманистического учения о человеке. Эразм был слишком умен и проникновенен, чтобы тешить себя несбыточными иллюзиями о близком торжестве гармонии над хаосом, человечности над фанатическим неистовством. Но опустить руки, застыть в созерцательном бездействии он и не хотел и не мог. Обремененный недугами и годами, едва живой, он все время трудился на благо культуры, а следовательно, Разума и Человека.

Книга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» написана в жанре «биографических очерков», к которым Стефан Цвейг неоднократно обращался, начиная с 20-х годов. Видя в духовном росте человечества решающий показатель исторического прогресса, он внимательно присматривался к таким могучим созидателям культуры, как Бальзак, Диккенс, Достоевский, Толстой, Магеллан. Стараясь как можно глубже заглянуть в их богатый духовный мир, поднимавший человечество на более высокую ступень,

он видел в них не только замечательных писателей, мыслителей или открывателей новых земель, но и провозвестников грядущего мира, в котором человек наконец обретет самого себя.

Среди других биографических очерков книга об Эразме Роттердамском занимает видное место. Написанная изящно, тонко, с очень хорошим знанием фактов, хотя и не всегда исторически вполне достоверная, книга Цвейга подкупает большой сердечной теплотой и какой-то удивительной личной заинтересованностью писателя в судьбе человека, жившего много веков тому назад. И в этом нет ничего странного. Как уже упоминалось выше, судьба Эразма не могла не наводить Цвейга на горестные размышления о судьбах европейской культуры в пору ожесточенного наступления нацистского фанатизма. Эразм неожиданно оживал, и прежде всего оживал в самом Стефане Цвейге. Ведь много было общего в их судьбе и в их взглядах и даже, пожалуй, в их человеческих слабостях и заблуждениях. Стремясь быть вполне объективным, Стефан Цвейг при всей своей симпатии к Эразму не лишает его слабостей и недостатков. И то, с какой тревогой и печалью он на них указывает, лишний раз свидетельствует о том, что в историческом зеркале он узнаёт самого себя и подобных ему апостолов культуры, неспособных повести за собой массы людей и даже сторонящихся этих людей. Пожалуй,

писатель даже несколько сгущает краски, рисуя трагедию Эразма, натолкнувшегося на глухую стену фанатизма. Ведь Эразм не отрекся от своих заветных идеалов, не уступил недругам, не ушел малодушно из жизни. Трагическое одиночество старого гуманиста было овеяно героическим духом.

Недостаточно отчетливо намечена в книге и социальная подоплека развернувшихся в начале XVI века в Германии драматических событий. Внимание автора неизменно приковано к выразительным фигурам виднейших деятелей тогдашней культурной и религиозной жизни. Они для Цвейга, собственно, и являются началом и вершиной истории.

Прежде всего это, конечно, герой книги Эразм Роттердамский, а также его могучий соперник Мартин Лютер. В портретных характеристиках Цвейг достигает поразительного мастерства. Тут и проявляется вся пластическая и аналитическая сила, присущая ему как писателю. Далекое становится очень близкими, зримыми, понятными. В этом отношении примечательна хотя бы глава «Облик», в которой Цвейг, внимательно всматриваясь в портреты Эразма, написанные его современником Гансом Гольбейном, воссоздает физический и духовный облик великого гуманиста. Или его характеристика Мартина Лютера, смело метнувшего искру, из которой разгорелось бушующее пламя

Реформации. Прямо перед нами возникает этот грузный громогласный человек, созданный для борьбы и неистовых стычек, фанатик антипапского движения, всегда шедший напролом, столь непохожий на деликатного, осмотрительного, осторожного Эразма.

Под пером Цвейга шестнадцатый век стремительно приближается к веку двадцатому. И Цвейг вовсе не скрывает этого, особенно когда книга превращается в монолог, горестный и тревожный монолог автора, излагающего свои заветные мысли и надежды.

Следует еще добавить, что книга Стефана Цвейга «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» появляется на русском языке впервые.

Б. И. Пуришев

Триумф и трагедия Эразма Роттердамского

*Я пробовал узнать, с кем заодно
Эразм Роттердамский. Но один
торговец ответил мне:*

ERASMUS EST HOMO PRO SE»
(«Эразм всегда сам по себе»).

«Epistolae obscurorum virorum»
(«Письма темных людей»), 1515.



призвание и смысл жизни



разм Роттердамский, светоч и слава своего столетия, сейчас, что говорить, не больше чем имя. Его бесчисленные сочинения, написанные на забытом, наднациональном языке — гуманистической латыни, спят нетревожимые на полках библиотек; лишь очень немногое из того, что некогда было знаменито на весь мир, сохранило звучание для нашего времени. Как личность он тоже заслонен фигурами других преобразователей мира, более

мощными и яркими, — в нем все противоречиво, неуловимо, мерцающе. О внешней жизни его можно рассказать мало интересного: человек, живущий в тиши и неустанных трудах, редко имеет колоритную биографию. Да и то, что он сделал, скрыто от сознания ныне живущих, завалено, как фундамент под уже возведенным зданием. Поэтому так важно сказать о главном, чем дорог нам сегодня, и именно сегодня, Эразм из Роттердама, Великий Забытый: он был первым из писателей и творцов западной культуры, кто осознал себя европейцем, первым воинствующим борцом за мир, вдохновенным поборником гуманистического идеала, открытого и высокодуховного. Само поражение его в борьбе за более правильный, гармоничный облик нашего духовного мира, сам трагизм его судьбы делает его нам ближе, еще теснее связывает его с нами. Эразм любил то же, что и мы: поэзию и философию, книги и произведения искусства, языки и народы, не делая между ними различия, любил все человечество. И лишь единственное на земле, что он поистине ненавидел как силу, враждебную разуму, — это фанатизм. Человек, предельно чуждый фанатизма, ум, быть может, не самого высокого взлета, но многознающий, сердце не столь уж страстной

доброты, но честное и благожелательное, Эразм в любой форме идейной нетерпимости видел наследственную болезнь нашего мира. Он был убежден, что едва ли не любой конфликт между людьми можно уладить добром, путем взаимной уступчивости, ибо все это в пределах человеческого разумения, что почти каждый спор мог быть разрешен полюбовно, если бы всякого рода ярые и яростные воители не перегибали палку. Поэтому Эразм боролся против любого фанатизма: религиозного, национального, идейного, против любых нарушителей согласия; он ненавидел их, твердолобых и ограниченных, кто бы они ни были и какое бы облачение ни носили, рясу священника или профессорскую мантию; ненавидел этих нетерпимых мыслителей в шорах, требующих, чтоб все рабски подчинялось только их мнению, а всякий иной взгляд презрительно объявляющих ересью или плутовством. Никому не навязывая своих представлений, он и себя не позволял обратить в чью-либо религиозную или политическую веру. Независимость духа была для него чем-то, что само собой разумелось, и когда с амвона или с кафедры кто-нибудь начинал провозглашать свои истины, точно это было откровение, которое сам господь бог нашептал ему, и толь-

ко ему, на ухо, этот свободный мыслитель чувствовал, что наносится ущерб божественному многообразию мира. Со всей силой своего яркого и блистательного интеллекта всю жизнь и всюду разил он пророков собственного безумия — и лишь в редкие счастливые часы смеялся над ними. Тогда узколобый фанатизм представлялся его смягчившейся душе скорей прискорбной умственной ограниченностью, одним из бесчисленных проявлений «*stultitia*»¹, тысячу форм и разновидностей которой он так блистательно разобрал и осмеял в своей «Похвале глупости». Свободный от предрассудков, он был готов с пониманием и сочувствием отнестись даже к злейшему своему врагу. Но в глубине души Эразм всегда знал, что его собственный, столь уязвимый мир, сама его жизнь будут разбиты этим злым духом природы человеческой — фанатизмом.

Ибо призванием и смыслом жизни Эразма было гармонически примирять противоречия в духе гуманности. Он по природе был натурой связующей, или, если воспользоваться выражением Гете, которого сближает с Эразмом неприятие любых крайностей, «коммуникативной». Всякое насилие, всякая

¹ Глупости (лат.).

смута и мрачная распря, захватывающие множество людей, нарушали, по его понятиям, ясность Мирового разума, смиренным и верным посланцем которого он себя ощущал; особенно же несовместимой с нравственным человеческим чувством представлялась ему война, этот самый грубый и жестокий способ разрешения внутренних противоречий. Сила его терпеливого гения заключалась в редкостной способности смягчать конфликты, проявляя добрую волю и понимание, прояснять смутное, упорядочивать запутанное, связывать разорванное, выявлять в обособленном то общее, что может объединять, и современники с благодарностью называли это неустанное стремление добиваться согласия просто — «эразмовский дух». Он бы хотел, чтоб дух этот воцарился во всем мире. Ведь сочетая в самом себе самые разнообразные творческие способности — в одном лице писатель, филолог, богослов и педагог, — он полагал, что и во всем можно связать кажущееся несовместимым; не было сферы, недоступной или чуждой его посредническому искусству. Для Эразма не существовало непреодолимого нравственного противоречия между Иисусом и Сократом*, между учением христианства и античной мудростью, между благочестием и этикой. Имея сан

священника, он и язычников с готовностью брал в свое небесное царство духа и братски помещал их рядом с отцами церкви; философия была для него такой же чистой формой поиска божественной истины, как теология, и вера, с какой он взирал на христианские небеса, была ничуть не меньше благодарности, с какой глядел он на греческий Олимп. Не в пример Кальвину* или другим фанатикам, он видел в Ренессансе с его чувственно-радостной полнотой не врага Реформации, но ее свободного собрата. Не осевший ни в одной стране, но всюду свой, первый, кто осознал себя европейцем и гражданином мира, он ни за одной нацией не признавал права считать себя выше другой, а так как сердце его привыкло судить о каждом народе по самым ярким и благородным выразителям его духа, то все народы представлялись ему достойными любви и уважения. Главной целью его жизни стала благородная попытка создать великий союз просвещенных людей, людей доброй воли всех стран, рас и сословий, и на какой-то исторический срок — незабываемое деяние! — он дал народам Европы подлинно наднациональную форму мышления и общения, возведя на новый художественный уровень язык языков — латынь. Его богатое знание пита-

лось культурой прошлого, его верующий разум с надеждой был обращен в будущее. Но он упорно отворачивался от всего, что было в мире варварского, что с неуклюжей злобой, с тупой враждебностью постоянно угрожало мировой гармонии; его братски влекло к себе лишь высокое, творческое, созидающее, и он считал долгом каждого мыслящего человека раздвигать, расширять эту сферу, чтобы ее чистый небесный свет озарил и объединил наконец все человечество. Ведь глубочайшее убеждение (и прекрасная, но трагическая ошибка) Эразма и его последователей — всех ранних гуманистов было в том, что они считали возможным достичь прогресса с помощью просвещения, они надеялись воспитать отдельных людей и всех вместе, распространяя образование, письменность, учение, книги. Эти ранние идеалисты испытывали трогательную, почти религиозную уверенность в том, что приобщение к культуре может изменить саму человеческую природу. Эразм верил в книги и никогда не сомневался, что нравственности можно научить и научиться. Ему чудилось, что человечество совсем уже близко к идеалам гуманизма, а значит, в жизни вот-вот наступит полная гармония.

Эта высокая мечта, конечно, должна была, как мощный магнит, притягивать лучших людей того времени из всех стран. Человеку, наделенному нравственным чувством, собственная жизнь представляется ненужной и бессмысленной, если душу его не переполняет утешительная, безумная надежда, что он сам, по своему желанию, своей волей может что-то сделать для нравственного усовершенствования мира. Наше время — лишь ступень, лишь подготовка на пути к какому-то более высокому совершенству. И тот, кто в подтверждение этой надежды на моральный прогресс человечества способен выдвинуть новый идеал, становится вождем своего поколения. Таков был Эразм. Час для его идеи о европейском единении в духе высокой гуманности был необычайно благоприятен: великие открытия на рубеже веков, возрождение наук и искусств, которое принес Ренессанс, давно стали общим для всей Европы, коллективным, счастливым переживанием; впервые после бесконечных лет скованности западный мир вновь исполнился веры в свое призвание, и лучшие умы во всех странах обращались к гуманизму. Каждый стремился стать гражданином царства образованности — гражданином мира; короли и папы, князья и священники,

художники и государственные мужи, юноши и женщины спешили овладеть искусствами и науками, латынь стала языком всеобщего братства, первым эсперанто духа*: впервые — воздадим должное этому подвигу! — после падения римской цивилизации благодаря эразмовой республике ученых вновь стало возможным становление единой европейской культуры, впервые целью бескорыстного братства мечтателей стало не служение тщеславным целям отдельной нации, а благо всего человечества. И это стремление мыслящих людей духовно объединиться, языков — найти согласие в одном языке, наций — примириться, наконец, во имя более высокой общности — этот триумф разума был одновременно и триумфом Эразма, его святым, но кратким и преходящим звездным часом.

Почему — горький вопрос — не могло быть долговечным царство такой чистоты? Почему эразмовский дух, все эти высокие и гуманные идеалы духовного взаимопонимания всегда оказывали так мало реального воздействия на человечество, давно имевшее возможность убедиться в бессмысленности всякой вражды? Увы, надо признать, что огромное множество людей никогда не могло вполне удо-

влетвориться идеалом, единственная цель которого всеобщее благо. У толпы всегда готовы заявить о своих мрачных правах ненависть, откровенное самодурство, своекорыстие, стремление от любой идеи поскорей получить личную выгоду. Масса предпочтет конкретное, осязаемое любым абстракциям, поэтому лозунги, провозглашающие вместо идеала вражду, удобное, наглядное противопоставление другой расе, другому сословию, другой религии, легче находят сторонников, ибо ненависть — лучшее топливо, на котором разгорается преступное пламя фанатизма. Напротив, такой общечеловеческий, выходящий за рамки отдельной нации идеал, как эразмовский, не может привлечь незрелые умы тех, кто в боевом запале желает видеть перед собой конкретного врага. Он лишен подобной наглядности и не дает такого элементарного стимула, как гордое сознание своей исключительности. Этот идеал недоступен тем, кто видит врага в каждом, принадлежащем к чужой религиозной общине или живущем в другой стране. Поэтому всегда проще взять верх идеологам разобщенности, умеющим направить вечное человеческое недовольство в определенное русло. Эразмовский гуманизм, отвергающий ненависть, терпеливо и героически

устремляется к далекой, невидимой цели, ибо еще не существует народа, о котором мечтал Эразм,— европейской нации. Поэтому приверженцы грядущего взаимопонимания между людьми, идеалисты, знающие в то же время человеческую природу, должны самоотверженно сознавать, что их делу всегда грозит вечный хаос страстей, что бурный поток фанатизма, извергающийся из бездн человеческих инстинктов, то и дело будет затоплять берега и прорывать плотины: почти каждому новому поколению дано испытать такой кризис, и моральный долг его — перенести этот кризис без внутреннего замешательства.

Но личная трагедия Эразма состоит в том, что именно он, самый нефанатичный, самый антифанатичный из людей, и именно в момент, когда общечеловеческая идея впервые победоносно озарила Европу, оказался втянут в одну из самых диких вспышек национально-религиозных массовых страстей, какие только знала история. Вообще говоря, события, которые мы называем исторически важными, целиком не захватывают живого народного сознания. В былые века даже крупные войны касались лишь отдельных народностей, отдельных провинций, и в пору социальных или религиозных

распрей, в общем, можно было держаться в стороне от сумятицы, взирая на политические страсти с высоты и беспристрастно — лучший пример тому Гете, невозмутимо продолжавший свой труд среди сутолоки наполеоновских войн. Но иногда, в редкие столетия, возникают противоречия такой силы, что они разрывают мир надвое, как полотно, и этот гигантский разрыв проходит через каждую страну, каждый город, каждый дом, каждую семью, каждое сердце. На личность со всех сторон обрушивается чудовищный, массовый напор — и не защититься, не спастись от всеобщего безумия; в этой неистовой сшибке становится невозможно найти надежное, стороннее место. Такого рода мировые расколы могут возникнуть на почве несогласия по социальным, религиозным и другим духовно-теоретическим вопросам, но фанатизму, в сущности, все равно, на каком топливе воспламеняться: ему лишь бы пылать и полахать, давая выход накопившимся силам ненависти, и в этот апокалиптический момент массового безрассудства демон войны чаще всего и разрывает цепи разума, чтобы с наслаждением обрушиться на мир.

В такую страшную пору, когда мир делится на враждующие лагери, воля отдельного человека ста-

новится беззащитной. Напрасно мыслитель пытается спастись в сфере уединенного созерцания — время заставит его включиться в спор на стороне правых или левых, примкнуть к тому или иному войску, к тому или иному лозунгу, той или иной группе; в такие времена среди сотен тысяч и миллионов вовлеченных в борьбу ни от кого не требуется столько мужества, силы, столько нравственной решимости, как от человека середины, не желающего подчиниться какому бы то ни было безрассудству. И здесь начинается трагедия Эразма. Он был первым немецким реформатором (и, по существу, единственным, ибо другие были скорей революционеры, чем реформаторы), который попытался обновить католическую церковь по законам разума; однако навстречу ему, дальновидному человеку духа, стороннику эволюции, судьба послала Лютера, человека действия, революционера, одержимого извечными немецкими демонами насилия. Железный крестьянский кулак доктора Мартина одним ударом раздробил все, что пыталась свести воедино изящная, вооруженная только пером рука Эразма. Христианская Европа на столетия оказалась расколотов: католики против протестантов, север против юга, германцы против ро-

манцев. В этот момент для немца, для европейца существовал единственный выбор, единственная возможность решения: выступить либо за папу, либо за Лютера, за всевластие церкви, либо за Евангелие. Однако Эразм — знаменательный поступок — отказался примкнуть к кому бы то ни было. Он не предпочел ни реформаторов, ни церковников, ибо связан был и с теми и с другими: с евангелическим учением — поскольку он первый убежденно способствовал его развитию, с католической церковью — поскольку видел в ней последнюю форму духовного единства в поколебленном мире. Но ни справа, ни слева никто не знает меры, всюду — фанатизм, и Эразм, неизменный в своем неприятии всякого фанатизма, не желает служить ни тем, ни другим — лишь справедливости, единственной и вечной ценности. Тщетно предлагает он свое посредничество, надеясь среди этой сумятицы спасти общечеловеческое достоинство, и оказывается в центре событий, там, где опасней всего; голыми руками он силится смешать воду и пламя, примирить одного фанатика с другим — невозможная и потому вдвойне великолепная попытка. Поначалу в обоих лагерях не могут разобраться в его позиции, а поскольку говорит он мягко, каждый на-

деется залучить его к себе. Но едва до тех или других доходит, что этот свободный человек не собирается примыкать ни к какому чужому мнению и защищать ничью догму, как и справа, и слева на него обрушиваются насмешки и брань. Эразм не желает быть ни на чьей стороне — и порывает и с теми и с другими: «для гвельфов я гиббелин, для гиббелинов гвельф»*. С тяжким проклятием обрушивается на него протестант Лютер, а католическая церковь заносит все его книги в свой «Индекс»*. Но ни угрозы, ни нападки не могут склонить Эразма ни к той, ни к другой партии: *nulli concedo*¹, никому не желаю принадлежать — этого своего девиза он придерживался последовательно до конца, *homo pro se*, человек сам по себе. Художник, человек духа, в представлении Эразма, должен быть среди политиков, тех, кто ведет людей и кто вводит их в соблазн односторонних страстей, понимающим посредником, человеком меры и середины. Он должен выступать лишь против общего врага всякой свободной мысли: против фанатизма любого толка. Не вне враждующих лагерей, ибо художник обязан

¹ Никому не уступлю! (лат.) — Это изречение было девизом Эразма. (Прим. переводчика.)

чувствовать вместе со всем человечеством, но *audessus de la mêlée*¹, борясь против любой крайности, против всякой пагубной, бессмысленной ненависти.

Эту позицию Эразма, эту его нерешительность, или, лучше сказать, его нежелание решать, современники и потомки чересчур упрощенно объявляли трусостью, а его прозорливую неторопливость высмеивали, объясняя ее вялостью и нетвердостью убеждений. Что говорить, Эразм не встречал, как Винкельрид*, с открытой грудью полчища врагов; такое бесстрашие было не в его духе. Он осмотрительно отклонялся в сторону, покачивался, как тростник, — но лишь для того, чтобы не дать себя сломать и затем вновь выпрямиться. Свое стремление к независимости, свой девиз «*nulli concedo*» он не выставлял перед собой горделиво, словно дароносицу², а прятал под плащом, точно потайной фонарь; иногда, на время самых диких сшибок, он затаивался и скрывался в укромных уголках, на окольных тропях, но — и это важнее всего — свое духовное сокровище, свою веру в человечество

¹ Над схваткой* (франц.).

² Д а р о н о с и ц а — переносной сосуд для причащения.

он пронес, не утерав, сквозь самые страшные ураганы эпохи, и от этой маленькой теплящейся лампы смогли зажечь свой огонь Спиноза, Лессинг и Вольтер. Единственный среди представителей своего духовного поколения, Эразм остался верен прежде всего человечеству, а не отдельному клану. Он умер в стороне от поля битвы, не принадлежа ни к одной из армий, подвергаясь нападкам обеих, один, одинокий, и все же — главное — независимый и свободный.

Однако история несправедлива к побежденным. Она не любит людей меры, посредников и миротворцев, людей человеческих. Любимцы ее — люди страстные, меры не знающие, неистовые авантюристы духом и делом; тихого служителя гуманности она пренебрежительно склонна не замечать. В гигантской картине Реформации Эразм стоит на заднем плане. Судьбы других, всех этих одержимых своим гением и своей верой, исполнены драматизма: Гус* задыхается в полыхающем пламени, Савонарола сожжен во Флоренции, Сервет отправлен на костер фанатиком Кальвином. Каждому дано познать свой трагический час: Томаса Мюнцера пытаются раскаленными щипцами, Джон Нокс прикован к галере, Лютер, широко упершись но-

гами в немецкую землю, грозит императору и империи своим «Я не могу иначе!». Томас Мор и Джон Фишер склоняют голову на плаху палача, Цвингли, сраженный бердышом, лежит на равнине под Каппелем — все это незабываемые фигуры, люди величественной судьбы. Но за их спинами во всю ширь полыхает роковое пламя религиозного безумства, кощунственное доказательство правоты каждого из фанатиков, по-своему толкующих Христа, — опустошенные замки времен Крестьянской войны, разрушенные города, разоренные хозяйства эпохи Тридцатилетней, Столетней войны, эти апокалиптические пейзажи вопиют к небесам о земном безрассудстве. И посреди этой смуты, несколько позади великих капитанов церковной войны и явно в стороне от них, мы видим умное, затуманенное тихой печалью лицо Эразма. Он не у мученического столба, в руке его нет меча, лицо не искажено горячей страстью. Но ясен взгляд голубоватых ласковых глаз, увековеченный Гольбейном *, сквозь сутолоку человеческих страстей он смотрит в наше, не менее взбудораженное время. Спокойная разочарованность омрачает его чело — о, ему знакома вечная *stultitia* мира! И все же легкая, тихая улыбка надежды играет у его губ. Мудрый, он знает:

суть всех страстей в том и состоит, что они рано или поздно выдыхаются. Всякий фанатизм в конце концов загоняет сам себя в угол — в этом его судьба. Разум же, вечный и терпеливый в своем спокойствии разум, может ждать и не отступаться. Порой, когда другие неистовствуют в упоении, он вынужден умолкнуть и онеметь. Но время его приходит вновь — оно приходит всегда.





Взгляд на эпоху



убеж пятнадцатого и шестнадцатого столетий — решающее для судеб Европы время, сравнимое лишь с нашим по своей драматической насыщенности. Европа вдруг выходит в мир, открытие следует за открытием, и в течение немногих лет отвага нового поколения мореплавателей позволяет наверстать упущенное другими веками из-за равнодушия или малодушия. Цифры выскакивают, как на циферблате электрических часов: 1486 —

Диас первым из европейцев отваживается добраться до мыса Доброй Надежды, 1492 — Колумб достигает американских островов, 1497 — Себастьян Кабот доплывает до Лабрадора, то есть до Американского материка. Новый континент уже входит в сознание белой расы, когда Васко да Гама доплывает от Занзибара до Калькутты и пролагает морской путь в Индию, 1500 — Кабрал открывает Бразилию, наконец, с 1519 по 1522 Магеллан совершает свой знаменательный, венчающий всё подвиг: первое путешествие человека вокруг земли, из Испании в Испанию. Тем самым доказывається, что прав был Мартин Бехайм, создавший в 1490 году свое «земное яблоко», первый глобус, осмеянный поначалу как нехристианская гипотеза и дурацкая затея: смелое деяние подтвердило от-важную мысль.

В один прекрасный день для мыслящего человечества круглый шар, на котором оно до сих пор, само того не подозревая, как на некоей terra incognita¹, уныло неслоь сквозь звездное пространство, становится знакомым и познаваемым; море, эта голубая пустыня, катящее свои волны

¹ Неизвестной земле (лат.).

в мифическую бесконечность, становится чем-то измеримым, обмеренным, подвластным людям. Европа вдруг небывало воспрянула духом, и нет теперь остановки, нет отдыха в этом неистовом соревновании за открытие космоса.

Каждый раз, когда пушки Кадиса или Лиссабона приветствуют возвращающиеся корабли, любопытная толпа устремляется к гавани, чтобы услышать о новооткрытых странах, подивиться диковинным птицам, зверям и людям; с трепетом взирают они на огромные груды серебра и золота, и во все концы разносится весть о том, что Европа внезапно стала центром и повелительницей целой Вселенной.

Коперник уже исследует нехоженые пути светил над вдруг засиявшей Землей, и недавно открытое искусство книгопечатания с неведомой до сих пор быстротой доносит все эти новые знания до самых отдаленных городов и затерянных углов: впервые за многие столетия Европе дано счастливое и возвышающее коллективное переживание. На глазах одного поколения такие первоначальные элементы человеческих представлений, как пространство и время, обрели совсем иную меру и ценность — разве что открытия и изобре-

тения на рубеже нашего века, когда телефон, радио, автомобиль и самолет так же внезапно сжали пространство и время, принесли с собой сходную перемену жизненного ритма.

В таком расширившемся мире не могла не измениться и человеческая душа. Каждый вдруг оказался перед необходимостью мыслить, считать, жить в иных измерениях; но прежде чем к непостижимым переменам успел приспособиться мозг, преобразились чувства: смущение и замешательство, наполовину страх, наполовину порыв энтузиазма— вот первая реакция души, вдруг утерявшей привычные мерил, когда ускользают все нормы и формы, казавшиеся неколебимыми.

В один прекрасный день все, до сих пор определенное, оказалось под вопросом, все вчерашнее — устаревшим на тысячу лет и изжившим себя; птолемеевские карты Земли, непререкаемая святыня для двадцати поколений, после Колумба и Магеллана стали посмешищем для детей, труды по космогонии, астрономии, геометрии, медицине, которые веками считались безупречными, принимались на веру и благоговейно переписывались, теперь утратили цену; все прежнее блекло и осыпалось под горячим дыханием нового времени.

Точно разбитые идолы, рушатся старые авторитеты, валяются бумажные замки схоластики, вольным становится горизонт. Организм Европы бурлит новыми соками, вызывая лихорадочную тягу к духовным знаниям, к науке, ритм ускоряется. Неторопливо развивавшимся до сих пор процессам эта лихорадка дает новый жаркий импульс, все сущее, словно от подземного толчка, приходит в движение.

Меняется порядок, унаследованный от средних веков, одни идут в гору, другие под гору: рыцарство приходит в упадок, набирают силу города, крестьянство беднеет, торговля растет с тропической скоростью и роскошь процветает на почве, удобренной заокеанским золотом.

Все сильнее становится брожение, полным ходом идет коренная социальная перегруппировка, напоминающая ту, что происходит в наши дни благодаря взрыву технического прогресса: наступает один из тех характерных моментов, когда человечество оказывается вдруг захлестнутым собственными достижениями и должно приложить все силы, чтобы вновь нагнать само себя.

Все сферы человеческой жизни были потрясены этим небывалым напором, и даже самый глубинный

слой, который обычно не затрагивают бури времени,— область религиозного — оказался потревожен на этом великолепном рубеже веков и миров. Строгие догмы католической церкви противостояли, как скала, всем ураганам, и великая, исполненная веры покорность ей была символом средневековья. Превыше всего ставился авторитет, он диктовал взгляды, требуя от людей принимать на веру святое слово, и невозможно было никакое сомнение в религиозной истине, никакое сопротивление; если же оно отваживалось поднять голову, церковь пускала в ход свое оружие: анафема ¹ переламывала мечи королей и затыкала глотки еретикам. Это смиренное, безропотное послушание, эта слепая, блаженная вера объединяла народы и племена, расы и классы, какими бы чуждыми и враждебными друг другу они ни были: в эпоху средних веков западное человечество как бы имело единую душу, и эта душа была католической. Европа покоилась в лоне церкви; порой волновали и возбуждали ее мистические грезы, но она спала и не тосковала по истине и знанию. И вот впервые западной души коснулось беспокойство: если постижимыми оказа-

¹ Отлучение от церкви, проклятие (греч.).

лись земные тайны, разве нельзя постичь и божественные? То один, то другой начинают вставать с колен, поднимают смиренно склоненные головы и вопрошающе смотрят на небеса; не безвольная покорность, но воля мыслить и вопрошать наполняет их души, и рядом с отважными покорителями неведомых морей, рядом с Колумбом, Писарро*, Магелланом встает поколение конкистадоров духа, осмелившихся посягнуть на самую беспредельность.

Религиозная мысль, столетиями заключенная в догме, как в запечатанном сосуде, подобно ветру вырывается на волю и из церкви проникает в самую глубь народа. В этой последней сфере мир тоже хочет обновления и перемен.

Попробовав довериться самому себе и добившись победы, человек шестнадцатого столетия начал ощущать себя уже не малой безвольной пылинкой, что, как росы, жаждет божественной милости, а центром происходящего, средоточием силы; из смирения и угрюмости рождается вдруг новое самоощущение, то самое чувственное и бесконечное упоение своим могуществом, которое мы охватываем словом «Ренессанс», а наряду с духовными пастырями, на равных правах с ними, выступают

учителя духа, наряду с церковью — наука. Непререкаемый авторитет и здесь разрушен или, во всяком случае, поколеблен, приходит конец смиренно онемевшему человечеству средних веков, рождается новое, вопрошающее и исследующее с тем же религиозным пылом, с каким прежде верило и молилось.

Страстная тяга к знанию из монастырей переходит в университеты, оплоты свободной науки, которые почти одновременно возникают по всей Европе. Расчищено место для поэтов, мыслителей, философов, знатоков и исследователей всех тайн человеческой души; дух проявляет себя в новых формах, гуманизм пытается без помощи церкви вернуть человеку его божественную сущность и уже начинает заявлять о себе поначалу высказанное одиночками, но затем уверенно подхваченное массами всемирно-историческое требование Реформации.

Великолепный миг, рубеж столетий, ставший рубежом эпох: Европа разом, на одном дыхании обретает сердце, душу, волю, устремленность. Исполненная силы, она чувствует себя единым целым, от которого непонятный еще зов требует перемен.

Это пора прекрасной готовности; в государствах — беспокойное брожение, в душах — нетерпение и трепетный страх, и все смутно вслушиваются в ожидании освобождающего, указывающего цель слова; сейчас или никогда человеческому духу дано обновить мир.





мрачная юность

Ч

то может быть более символично для этого гения, принадлежащего не какой-либо отдельной нации, но всему миру: у Эразма нет родины, нет настоящего отчего дома, он, можно сказать, родился в безвоздушном пространстве. Имя Эразм Роттердамский, которое ему суждено прославить, он взял себе сам, а не унаследовал от предков; язык, на котором он говорит всю жизнь, не родной голландский, а благоприобретенная латынь. День

и обстоятельства его рождения окутаны мраком, известен разве что год — 1466*. Сам Эразм отнюдь не вносил в дело ясности; будучи внебрачным ребенком и больше того, хуже того—внебрачным ребенком священника, он не любил говорить о своем происхождении. (Романтическая история о детстве Эразма, которую рассказывает Чарльз Рид* в своем знаменитом романе «Монастырь и очаг»,—само собой, выдумка.) Родители умерли рано, а родственники, как нетрудно понять, поспешили по возможности без лишних затрат спровадить бастарда ¹ куда-нибудь от себя подальше; к счастью, церковь всегда была не прочь принять одаренных детей. Девяти лет Деزيدерий ² (на самом же деле нежеланный) послан в школу при церкви в Девентере, затем в Хертогенбосе; в 1487 году он поступает в августинский монастырь Стейн, не столько из склонности к религии, сколько потому, что этот монастырь обладает лучшим в стране собранием античных классиков; там в 1488 году он принимает монашеский обет. Но никак не скажешь, чтобы весь

¹ Незаконнорожденного.

² Латинское «Деزيدерий», как и греческое «Эразм», по-русски значит «любимый», «желанный». (Прим. переводчика.)

пыл своей души он отдавал в монастыре заботам о благочестии; из писем Эразма скорей следует, что занимали его главным образом изящные искусства, латинская литература и живопись. Тем не менее в 1492 году он принимает из рук епископа Утрехтского священнический сан.

За всю его жизнь мало кто видел Эразма в облачении священника; не без усилия напоминаешь себе, что этот свободомыслящий и свободно пишущий человек действительно до самого смертного часа принадлежал к духовному сословию. Но Эразм обладал великим искусством мягко и незаметно отстранять от себя все, что ему было в тягость, и в любой одежде, под любым нажимом обеспечивать себе внутреннюю свободу. От двух пап он под хитроумнейшими предложениями добился разрешения не носить сутану, с помощью свидетельства о здоровье отделался от обязанности соблюдать пост и в монастырь не вернулся ни на один день вопреки всем просьбам, предостережениям и даже угрозам.

Это приоткрывает нам одну из самых важных и существенных черт его характера: Эразм ни с чем и ни с кем не желает себя связывать. Он не хочет надолго брать на себя никаких обязательств перед кня-

зьями, властителями и даже самым господом богом— только быть свободным, внутренне независимым, никому не подчиняться. В душе он не признавал над собой никакой власти, не собирался служить ни одному двору, ни одному университету, ни одной профессии, ни одному монастырю, ни одной церкви, ни одному городу и всю жизнь с тихим, мягким упорством отстаивал свою независимость.

С этой важнейшей чертой его природы органически связана другая: Эразма можно назвать фанатиком независимости, но никак не бунтовщиком, не революционером. Напротив, ему претит всякий открытый конфликт; как умный тактик, он избегает ненужного сопротивления властям и сильным мира сего. Он предпочитает действовать в союзе с ними, а не против них, добывать свою независимость хитростью, а не завоевывать ее; рясу августинского монаха, ставшую тесной его душе, он не отшвыривает по-лютеровски смелым драматическим жестом — нет, он снимает ее тихо, добившись тайком на это разрешения, без лишнего шума: достойный ученик своего земляка Рейнеке Лиса*, он ловко и изворотливо выскальзывает из любой ловушки, угрожающей его свободе. Слишком осторожный, чтобы стать героем, он достигает своего благодаря ясному

уму, принимающему в расчет человеческие слабости, он побеждает в вечной борьбе за независимый образ жизни не благодаря мужеству, но благодаря знанию психологии.

Однако великому искусству свободной и независимой жизни (труднейшему для всякого художника) надо учиться. Школа Эразма была суровой и долгой. Лишь в двадцать лет он ускользает из монастыря. При этом — вот первое испытание его дипломатического искусства — он убегает не как нарушивший обет монах, а получив после тайных переговоров приглашение сопровождать в поездке по Италии епископа Камбрейского в качестве хорошо владеющего латынью секретаря; в год, когда Колумб открывает Америку, узник монастыря открывает для себя Европу, свой будущий мир. Счастливым образом поездка оттягивается, и Эразм получает время пожить в свое удовольствие и по своему вкусу; ему уже не надо служить обеден, он может сидеть за обильным столом, заводить знакомства с умными людьми, сколько угодно заниматься изучением латыни и церковных классиков, наконец, писать свой диалог «Антиварвары»; впрочем, это заглавие его ранней работы могло бы стоять на титуле всех его сочинений. Оттачивая свои

манеры, совершенствуя знания, он не подозревает, что уже начал великий поход своей жизни против невежества, глупости и ссылающегося на традицию высокомерия. Увы, епископ Камбрейский отменяет свою поездку в Рим, прекрасным временам внезапно приходит конец, секретарь-латинист оказывается не у дел.

Собственно говоря, отпущенному на время монаху Эразму полагалось бы смиренно вернуться в свою обитель. Но однажды вкусив сладкого яда свободы, он уже ни за что и никогда не хочет с ней расстаться. Внезапно воспылав якобы неодолимой жаждой достичь совершенства в церковных науках, он со всем пылом и энергией, порожденными страхом перед монастырем, но в то же время и с довольно зрелым уже искусством психолога осаждаёт добродушного епископа просьбами о стипендии для поездки в Париж, дабы подготовиться там к получению степени доктора богословия.

Наконец епископ даёт ему свое благословение и, что для Эразма ещё важнее, изрядно тощий кошелек в качестве стипендии. Напрасно приор¹ монастыря ждёт возвращения вероломца — он бу-

¹ Настоятель (лат.).

дет ждать его годы и десятилетия, ибо Эразм давно продлил себе на всю жизнь отпуск от монашества и всякой другой формы принуждения.

Епископ Камбрейский выделил молодому студенту-теологу обычную сумму. Но эта студенческая стипендия прискорбно мала для почти тридцатилетнего мужчины, и с горькой иронией Эразм называет «антимаценатом» своего скупого покровителя. Успевший быстро привыкнуть к свободе и к епископскому столу, он, видно, чувствует себя глубоко униженным в *domus pauperum*¹, пресловутой коллегии Монтегю*, которая вряд ли могла ему понравиться своими аскетическими правилами и строгостью церковного начальства. Расположенная в Латинском квартале, на холме Сан-Мишель (почти рядом с нынешним Пантеоном), эта тюрьма ревниво и напрочь изолирует молодого, жадного до жизни студента от деятельных мирских собратьев; как о наказании, говорит он о «теологическом заточении», в котором провел свои лучшие молодые годы. Обладавший на редкость современными гигиеническими представлениями, Эразм в своих письмах без конца сетует: помещения спален вред-

¹ ДOME бедных (лат.).

ны для здоровья, стены ледяные, покрыты одной штукатуркой, тут же рядом отхожее место, от которого несет воню; кто станет долго жить в этой «уксусной коллегии»¹, тот непременно заболит и умрет. Не радует его и еда: яйца и мясо тухлые, вино кислое, и ночи напролет проходят в бесславной борьбе с насекомыми. «Ты из Монтегю? — шутит он позднее в своих «Разговорах»², — Должно быть, голова твоя в лаврах? — Нет, в блохах». Тогдашнее монастырское воспитание не чуралось и телесных наказаний, но палки и розги, все, что сознательно, ради воспитания воли готов был двадцать лет выносить такой фанатик, как Лойола*, претило нервной и независимой натуре Эразма. Преподавание тоже кажется ему отвратительным; скоро он навсегда проникается неприязнью к схоластике с ее мертвым формализмом, ее пустым начетничеством и изворотливостью, художник в нем восстает не с такой восхитительной веселостью, как у Рабле*, но с тем же презрением — против насилия, которое совершается над духом на

¹ Коллегия называлась по-латыни «Collegium Montis acuti»; «acetum» — «уксус». (Прим. переводчика.)

² См. прим. к стр. 196.

этом прокрустовом ложе. «Ни один человек, хоть когда-нибудь общавшийся с музами или грациями, не может постичь мистерий этой науки. Здесь надо забыть все, что ты узнал об изящной словесности, изрыгнуть все, что ты испил из ключей Геликона*». Я считаю за лучшее не говорить ни слова латинского, благородного или высокодуховного и делаю в этом такие успехи, что они, того гляди, признают меня однажды своим». Наконец, болезнь дает ему долгожданный предлог улизнуть с этих галер тела и духа, отказавшись от докторской степени.

Правда, после краткого отдыха Эразм возвращается в Париж, но уже не в «уксусную коллегию», он предпочитает давать домашние уроки молодым состоятельным немцам и англичанам: в священнике зарождается чувство художественной независимости.

Но в мире, еще наполовину средневековым, для человека духовного, творческого труда независимость не предусматривалась. Все сословия располагались по четко разграниченным ступеням: светские и церковные князья, духовенство, торговцы, солдаты, должностные лица, ремесленники, крестьяне — каждое представляло собой застывшую группу,

тщательно замурованную от всякого проникновения извне.

Для ученых, свободных художников, музыкантов в этом мировом распорядке еще не было места, поскольку не существовало гонораров, которые позднее обеспечивали их независимость. Им не оставалось, таким образом, иной возможности, как только поступить на службу к одному из господствующих сословий, стать либо слугой князя, либо божьим слугой. Если искусство не представляет собой самостоятельной власти, художнику приходится искать покровительства и милости у сильных мира сего: там выхлопотать себе содержание, тут место; вплоть до времен Моцарта и Гайдна он вынужден кланяться в числе прочих слуг.

Если не желаешь умереть с голоду, надо изысканно польстить тщеславию одних, припугнуть памфлетом других, богачей донимать просительными письмами, и эта малодостойная, ненадежная борьба за хлеб насущный, при одном меценате или при многих, бесконечна. Так жили десять, а то и двадцать поколений художников, от Вальтера фон Фогельвейде* до Бетховена, который первым повелительно потребовал от власть имущих то, что

ему полагалось по праву, и брал это со всей бесцеремонностью. Впрочем, для натуры столь иронической и сознающей свое превосходство, как Эразм, самоумаление, вкрадчивость и поклоны не представляют такой уж большой жертвы. Он рано научился различать лживую игру общества и, по характеру не склонный к бунту, принимает его законы без пустых жалоб, заботясь лишь о том, чтобы по возможности умней нарушить их и обойти. Тем не менее его путь к успеху был медленным и не особо завидным: до пятидесяти лет, когда уже князья добиваются его расположения, когда папы и вожди Реформации обращаются к нему с просьбами, когда его осаждают издатели, а богачи почитают за честь прислать подарок ему на дом, Эразм живет тем куском хлеба, какой удастся получить в подарок или просто выпросить. Уже с сединой в волосах, он вынужден гнуться и кланяться: нет числа его подобо-бострастным посвящениям, его льстивым эпистолам¹, они занимают большую часть его корреспонденции и, собранные вместе, составили бы классический письмовник для просителей — столько в них великолепной хитрости и искусства. Но за этим по-

¹ Письмам (лат.).

рой прискорбным недостатком гордости кроется решительная, великолепная воля к независимости. Эразм льстит в письмах, чтобы получить возможность быть правдивым в своих произведениях. Он позволяет себя какое-то время одаривать, но никому не дает себя купить, он отклоняет все, что могло бы надолго связать его с кем-либо особо.

Всемирно известный ученый, которого десяток университетов хотел бы залучить на свои кафедры, он предпочитает быть простым корректором в типографии у Альдуса* в Венеции, гофмейстером ¹ и фурьером ² у молодых английских аристократов, а то и просто приживалом у богатых знакомых; но все это лишь до тех пор, покуда он сам хочет, а на одном месте он долго никогда не задерживается.

Эта твердая, решительная воля к свободе, это нежелание никому служить делает Эразма настоящим кочевником. Он вечно в скитаниях: то в Голландии, то в Англии, то в Италии, Германии или Швейцарии — самый странствующий и страннолюбивый из ученых своего времени, не бедняк и

¹ Здесь: домашним учителем, гувернером.

² Фурьер ведал закупками съестных припасов и устройством жилища.

не богач, всегда «в воздухе», подобно Бетховену; но эта кочевая, бродячая жизнь дороже его философской натуре, чем кров и дом. Лучше ненадолго стать скромным секретарем епископа, чем епископом на всю жизнь, лучше за горсть дукатов давать советы князю, чем быть его всемогущим канцлером. Этот мыслитель инстинктивно отталкивается от всякой внешней власти, от всякой карьеры: действовать в тени власти, не возлагая на себя никакой ответственности, читать в тиши кабинета хорошие книги и писать их, никем не повелевать и никому не подчиняться — вот жизненный идеал Эразма. Ради этой духовной свободы он порой идет темными и даже кривыми путями; но все они ведут к той же сокровенной цели: независимости его искусства, его жизни.

Лишь тридцати с лишним лет, попав в Англию, Эразм находит круг, по-настоящему ему близкий. До сих пор он жил в затхлой монастырской келье, среди ограниченных, плебейского склада, людей. Спартанские порядки семинарии, духовное выкручивание рук, каким являлась схоластика, были настоящей пыткой для его тонких, чувствительных нервов; его дух, искавший широты, не мог развернуться в этой тесноте. Но пожалуй, именно эта

соль, эта горечь и разожгли в нем столь огромную жажду знаний и свободы, научили ненавидеть всякую бесчеловечную, узколюбую ограниченность и доктринерскую односторонность, всякую грубость и начальственность: именно то, что Эразм Роттердамский на собственном теле, на собственной душе так полно и болезненно испытал, что такое средневековье, позволило ему стать вестником нового времени.

Приглашенный в Англию своим юным учеником лордом Маунтджоем*, он впервые с безмерным счастьем вдыхает бодрящий воздух духовной культуры. Ибо в добрый час встречается Эразм с англосаксонским миром.

После бесконечной войны Алой и Белой Розы* Англия вновь наслаждается покоем, а там, откуда уходят политика и война, получают больше возможностей искусство и наука. Впервые бывший маленький монашек и репетитор открывает для себя сферу, где за власть почитаются лишь ум и звание. Никому здесь нет дела до его незаконнорожденности, никто не считает за ним молитв и обеден, в самых аристократических кругах его ценят только как художника, как интеллектуала — за изысканную латынь, за искусство занимательного раз-

говора; ошчастливленный, знакомится он с дивным гостеприимством англичан, с их благородной непредвзятостью.

«Ces grands Mylords
Accords, beaux et courtois, magnanimes et forts»¹, —

как воспел их Ронсар *. В этой стране ему открывается новый тип мышления. Хотя Виклиф * давно забыт, в Оксфорде продолжает развиваться более свободное, более смелое направление богословия; здесь Эразм находит учителей греческого языка, которые знакомят его с новой классикой; лучшие умы, самые выдающиеся люди становятся его покровителями и друзьями, даже молодой король Генрих VIII, тогда еще принц, велит, чтоб ему представили маленького священника. Близкая дружба с благороднейшими людьми поколения, Томас Мором и Джоном Фишером, покровительство Джона Колета *, епископов Уорхэма и Крэнмера свидетельствует, к чести и славе Эразма, что он произвел глубокое впечатление. Страстно,

¹ «Эти милорды, гармоничные, прекрасные и любезные, великодушные и сильные» (франц.).

жадно впивает молодой гуманист этот пропитанный мыслью воздух, использует время своего пребывания в гостях, чтобы всесторонне расширить знания, в беседах с аристократами, с их друзьями и женами оттачиваются его манеры. Растущее чувство уверенности помогает совершиться быстрому превращению: из робкого, неловкого священника получился аббат, который носит сутану, как вечернее платье. Эразм начинает заботиться о нарядах, учится верховой езде, охоте; в гостеприимных домах английского высшего света он усваивает тот аристократизм поведения, который в Германии так выделяет его из среды более грубых и неотесанных провинциальных гуманистов и в немалой мере определяет его культурное превосходство. Здесь, в центре политической жизни, среди лучших умов церкви и двора, его взгляд обретает ту широту и универсальность, что впоследствии будет изумлять мир. Светлей становится и его характер. «Ты спрашиваешь, люблю ли я Англию? — радостно пишет он одному из друзей. — Так вот, если ты веришь мне, поверь и в этом: нигде мне еще не было так хорошо. Здесь приятный здоровый климат, культура и ученость лишены педантизма, безупречная классическая образованность, как латинская, так

и греческая; словом, я почти не стремлюсь в Италию, хотя там есть вещи, которые бы надо увидеть. Когда я слушаю моего друга Колета, мне кажется, будто я слышу самого Платона *, и рождала ли когда-нибудь природа более добрую, нежную и счастливую душу, чем Томас Мор?» В Англии Эразм выздоровел от средневековья.

Однако при всей любви к этой стране он не становится англичанином. Он возвращается освобожденным — космополит, гражданин мира, свободная и универсальная натура. Отныне любовь его всегда там, где царят знание и культура, образование и книга. Не страны, реки и моря составляют для него космос, не сословия и расы. Он знает теперь лишь два сословия: высшее — аристократия духа и низшее — варварство. Где царствует книга и слово, «eloquentia et eruditio» ¹, — там отныне его родина.

Эта неизменная ограниченность кругом аристократии духа, культурным слоем, в ту пору еще мизерно тонким, делает фигуру и творчество Эразма в каком-то смысле лишенным корней: как истинный гражданин мира, он всюду лишь посетитель,

¹ Красноречие и ученость (лат.).

лишь гость, он не перенимает нравов и обычаев ни одного народа, не усваивает ни одного живого языка. Во всех своих бесчисленных путешествиях он, собственно, реально не замечает ни одной страны. Италия, Франция, Германия и Англия состоят для него из десятка людей, с которыми он может вести изысканный разговор, город — из своих библиотек; еще он, пожалуй, отмечал, где гостиницы почище, люди повежливей, вина послаще. Но, кроме искусства книги, все прочие были для него закрыты, глаз его не воспринимал живописи, ухо — музыки. Он не замечает, что в Риме творят Леонардо, Рафаэль и Микеланджело, а увлеченность папы искусством осуждает как излишнюю расточительность и роскошь, противную Евангелию. Эразм не прочел ни одной строфы Ариосто*, Чосер* в Англии, поэзия Франции остаются ему чужды. По настоящему слух его был открыт лишь одному языку — латыни, искусство же Гутенберга* было единственной музой, поистине ему родной; он представлял собой утонченнейший тип литератора, воспринимавшего мир лишь через посредство литер, букв. Он не знал другого отношения к жизни, как только через посредство книг, и с ними общался больше, чем с женщинами. Он любил их за

их тихость, за то, что они далеки от насилия и от невежества толпы, любил как единственную привилегию образованного человека в те бесправные времена. Лишь ради них, обычно бережливый, он мог стать расточительным, и если он старался заполучить деньги, посвящая кому-то свои труды, то с единственной целью: чтобы купить на них себе книги греческих, латинских классиков, все больше, больше, больше; причем он ценил в книгах не только содержание — один из первых библиофилов, он чувственно обожествлял само их бытие, их изготовление, удобную и в то же время прекрасную форму.

Стоять среди мастеровых под низкими сводами типографии у Альдуса в Венеции или у Фробена* в Базеле, брать из-под пресса еще влажные оттиски, вместе с мастерами своего дела ставить изящные заглавные буквы и украшения, с остро очиненным пером в руке выслеживать опечатки зорким взглядом охотника или поправлять в корректуре латинскую фразу, чтобы она звучала еще чище, классичнее — вот для него благословеннейшие минуты бытия, естественнейшая форма существования: в книгах, для книг. Эразм, в конечном счете, жил не среди какого-либо народа или в какой-то стране,

но в более тонкой прозрачной атмосфере, в *tour d'ivoire*¹. Но с этой башни, сложенной лишь из книг и труда, этот новый Линкей* пытливо смотрел вниз, чтобы ясно, свободно и правильно видеть и понимать живую жизнь.

Ибо понимать, и понимать всё лучше, — вот к чему, собственно, стремился этот необычный гений. Наверное, в строгом смысле слова Эразма не назовешь глубоким умом, он не принадлежит к числу тех, кто добирается до сути вещей, к тем великим преобразователям, что одаряют Вселенную новыми духовными планетными системами; истины Эразма — это, по существу, лишь внесение ясности. Но зато это был ум необычайно широкий, способный мыслить верно, светло и свободно, как впоследствии Вольтер и Лессинг, образец способности понимать и способствовать пониманию, просветитель в благороднейшем значении слова. Он был по природе создан, чтобы распространять ясность и добросовестность. Он терпеть не мог никакого сумбура, все расплывчато-мистическое органически претило ему; подобно Гете, он больше всего ненавидел «туманности». Его влекла ширь, но не

¹ Башне из слоновой кости* (франц.).

глубь, он никогда не склонялся над «бездной» Паскаля* и не знал таких душевных потрясений, как Лютер, Лойола¹ или Достоевский, этих страшных кризисов, таинственно близких смерти или безумию. Всякая чрезмерность, видимо, оставалась чужда его упорядоченной натуре. Но зато ни один другой человек средних веков не был так далек от суеверий. Должно быть, он тихо посмеивался над судорогами и кризисами своих современников, над адскими видениями Савонаролы², над паническим страхом Лютера перед чертями, над астральными фантазиями Парацельса*; он мог понимать и делать понятным лишь доступное пониманию. Взгляд его с самого начала был от природы ясен, и на что бы ни обращался этот неподкупный взор, все сразу как бы освещалось и обретало стройность. Эта родниковая прозрачность мысли и пронизательность чувств позволила ему стать великим просветителем, критиком своего времени, воспитателем и учителем целого столетия, и не только своего поколения, но и будущих, ибо все просветители, вольнодумцы и энциклопедисты восемнадцатого

¹ См. прим. к стр. 66.

² См. прим. к стр. 45.

века и еще многие педагоги девятнадцатого были плоть от плоти его.

Во всем образцово-трезвом есть, однако, опасность обмельчания и филистерства; но если просветительство семнадцатого-восемнадцатого веков бывает нам неприятно своей умеренной разумностью, то это не вина Эразма: они подражали только его методам, но не уловили его духа. У них не было того масштаба, им не хватало того грана аттической соли*, того высокого чувства превосходства, что наполняет такой увлекательностью, таким литературным вкусом все письма и диалоги их метра. Эразм постоянно балансировал между веселой шутовщиной и ученой торжественностью, он был достаточно крепок, чтобы поиграть своей силой, и прежде всего он был способен на блистательную, но не злую, едкую, но не злостную насмешку. Наследниками его стали Свифт, а затем Лессинг, Вольтер и Шоу. Первый великий стилист нового времени, Эразм умел произносить иные еретические истины, моргая и подмигивая, с гениальной дерзостью и неподражаемым мастерством он писал самые щекотливые вещи буквально на носу цензуры — опасный бунтовщик, никогда, однако, не ставивший себя под удар, защищенный

своей ученой мантией или вовремя накинутым шутовским нарядом. За десятую часть тех смелых слов, что сказал своему времени Эразм, другие попадали на костер, потому что они выкладывали их грубо; его же книги уважительно принимали папы и князья церкви, короли и герцоги, оделяя автора почестями и подарками; мастерство маскировки, по существу, позволило Эразму скрытно протащить всю взрывчатку Реформации в монастыри и княжеские дворы. С него начинается — всюду он пролагал пути — искусство политической прозы во всех ее разновидностях, от поэтичной до бойкого памфлета, крылатое искусство зажигательного слова, которое, найдя свое великолепное развитие у Вольтера, Гейне и Ницше, высмеивало все светские и духовные власти и всегда казалось им опасней, чем открытые нападки неуклюжих грубиянов. Благодаря Эразму писатель в Европе впервые становится силой наряду с другими силами. И непреходящая слава его в том, что он употребил эту силу не для разжигания страстей и подстрекательства, но только ради единения людей.

Таким большим писателем Эразм стал не сразу. Человеку его типа надо прожить немало лет, чтобы

проявить себя. Паскаль, Спиноза или Ницше могли бы умереть молодыми: их сосредоточенный дух сполна выразился в самых сжатых и завершенных формах. В отличие от них Эразм — ум собирающий, ищущий, комментирующий, резюмирующий, черпающий содержание не столько из себя, сколько из внешних источников, не интенсивный, но экстенсивный¹. Эразм больше мастер своего дела, чем художник, писательство для его вечно бодрствующего интеллекта — лишь иная форма беседы, она не сто́ит его подвижному уму особых трудов, и, как он сам говорил однажды, ему легче написать новую книгу, нежели держать корректуру² старой. Ему не надо ни возбуждать, ни взвинчивать себя, его ум и без того работает быстрее, чем за ним способно угнаться слово. «Когда я читал твоё сочинение, — пишет ему Цвингли, — мне казалось, будто я слышу тебя и вижу, как ладно движется твоя маленькая, но изящная фигура». Чем легче он пишет, тем выходит убедительней, чем больше он творит, тем сильнее результат.

¹ Здесь имеется в виду большая широта охвата в противоположность глубине.

² Читать, править набор.

Успех первого сочинения, которое приносит Эразму славу, можно объяснить случайностью, но гораздо верней будет сказать, что он, сам того не сознавая, угадал дух времени. Много лет в учебных целях молодой Эразм составлял для своих учеников сборник латинских цитат; как только представилась возможность, он издает их в Париже под названием «Адагии»*. И нечаянно угождает современному снобизму, поскольку латынь как раз начинала входить в большую моду и любой человек с литературными претензиями (злоупотребление этим дошло почти до нашего века) считал делом своей «образованности» наспиговать любое письмо, сочинение или речь латинскими цитатами. Искусная выборка Эразма избавляла гуманистических снобов от необходимости самим читать классиков. Принимаясь за письмо, они могли теперь не рыться в фолиантах, а быстро выудить изящное общее место в «Адагиях». А так как снобов во все времена существовало и существует множество, книга мгновенно расхватывается: в разных странах одно за другим выходит дюжина изданий, каждое новое почти вдвое полнее предыдущего; в один прекрасный день имя подкидыша и бастарда Эразма становится знаменитым на всю Европу.

Единичный успех для писателя ничего не значит. Но если он повторяется вновь и вновь и каждый раз в новой области, можно говорить о признании: значит, у художника есть некий особый инстинкт. Его нельзя в себе развить, этому искусству не учатся: никогда Эразм сознательно не ориентируется на успех, и каждый раз он поразительным образом к нему приходит. Он пишет для близких учеников несколько диалогов, чтобы помочь им легче усвоить латынь — из этого выходят «Разговоры запросто»¹, хрестоматия, которой зачитываются три поколения. В своей «Похвале глупости» он видит шутивную сатиру — и вызывает этой книгой революцию против всяческих авторитетов. Новым переводом Библии с греческого на латинский и комментариями к ним он кладет начало новому богословию². Написав за несколько дней книгу в утешение благочестивой женщине, уязвленной недостатком религиозного рвения мужа, создает катехизис нового евангелического благочестия³. Не целясь, он всегда попадает в яблочко. Всё, чего ве-

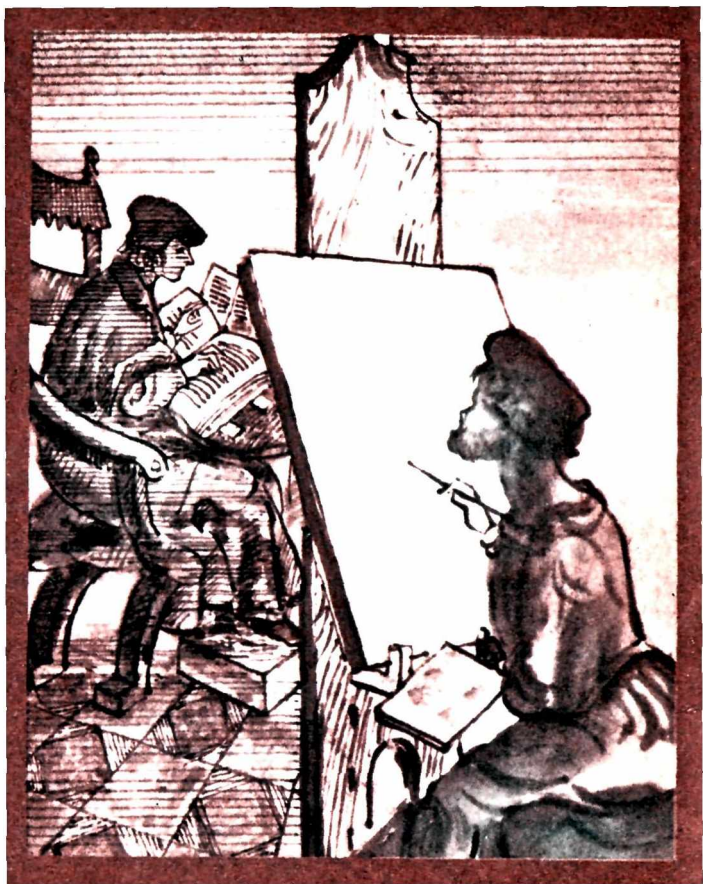
¹ См. прим. к стр. 196.

² См. прим. к стр. 122.

³ См. прим. к стр. 121.

личественно коснется свободный беспристрастный ум, оказывается новым для мира, скованного отжившими представлениями. Ибо тот, кто мыслит самостоятельно, мыслит в то же время лучше и плодотворнее.





Облик



лицо Эразма — одно из самых красноречивых и выразительных лиц, какие я знаю», — говорил Лафатер*, физиогномический авторитет которого никто не станет оспаривать. Таким выразительным, красноречиво говорящим о новом типе человека представляется его облик и крупнейшим художникам того времени. Не менее шести раз запечатлел великого Praeceptor mundi¹ в разные

¹ Наставника мира (лат.).

периоды его жизни точнейший из портретистов Ганс Гольбейн, дважды — Альбрехт Дюрер*, один раз — Квинтен Метсейс*; ни у одного из немцев нет столь славной иконографии¹. Ибо рисовать Эразма, *lumen mundi*², значило восславить универсального человека, объединившего разрозненные гильдии отдельных искусств в одно гуманистическое братство художников. В Эразме живописцы славили своего патрона, великого передового борца за новый эстетический и нравственный облик мира; они изображают его на своих досках при всех регалиях этой духовной власти. Как воин в полном снаряжении — с мечом и в шлеме, как дворянин при гербе и девизе, а епископ с перстнем и в мантии, так Эразм на каждом портрете предстает рыцарем новооткрытого оружия — книги. Все без исключения рисуют его среди книг, словно в окружении войска, пишущим, за работой.

У Дюрера он держит в левой руке чернильницу, в правой — перо, рядом лежат письма, перед ним — стопа фолиантов. Гольбейн один раз запечатлевает его положившим пальцы на книгу с символиче-

¹ То есть столько же знаменитых портретов.

² Светоча мира (*лат.*).

ским названием «Подвиги Геракла» — умело найденный образ, прославляющий титанизм Эразма труда; в другой раз рука Эразма покоится на голове скульптуры, изображающей древнеримского бога Тёрмина* — и в этом тоже есть символ. Но в каждом портрете подчеркивается «тонкость, спокойствие, умная боязливость» (Лафатер) его интеллектуальной осанки, то выражение ищущей, пытливой мысли, которое озаряет это в остальном скорей абстрактное лицо несравненным и незабываемым светом.

Ведь если разглядывать лицо Эразма само по себе, просто как маску, как поверхность, отвлекаясь от той внутренней силы, что сконцентрирована в глазах, его никак не назовешь прекрасным. Природа обошлась без лишней расточительности с этим богатым духовно человеком, лишь скупом отмерив ему жизненной полноты и силы, дав вместо здорового, крепкого, стойкого тела — маленькое и хилое. Она наполнила его жилы кровью жидкой, водянистой, нетемпераментной, прикрыла чувствительные нервы бледной, болезненной кожей, которая с годами сморщилась, как серый ломкий пергамент, изборожденная письменами морщин. Этот недостаток жизненной силы ощутим во всем:

блеклые, слишком тонкие волосы обрамляют виски в голубоватых прожилках, бескровные руки просвечивают, как алебастр, острый, как перо, нос торчит на птичьем лице, слишком таинственна складка очень тонких губ, созданных для разговора слабого, приглушенного, глаза, при всей их лучистости, невелики и слишком прикрыты — нигде на этом строгом, аскетическом лице, лице труженика, не заиграет яркий цвет, не округлится полная форма. Трудно представить себе этого ученого мужа молодым, занятым верховой ездой, плаванием или фехтованием, подставляющим лицо ветру, способным шутить и тем более заигрывать с женщинами, громко разговаривающим или смеющимся.

Когда видишь это тонкое, как бы законсервированное сухое монашеское лицо, первым делом невольно приходит мысль о закрытых окнах, о теплой печке, о ночных бдениях и дневных трудах: от него не исходит ни тепла, ни энергии, и Эразм действительно всегда мерзнет, этот комнатный человек вечно кутается в плотные, отороченные мехом одежды с широкими рукавами, а свою рано облысевшую голову непременно прикрывает от мучительных сквозняков бархатным беретом.

Это лицо человека, живущего не жизнью, но мыслью, сила которого сосредоточена не во всем теле, а только под костяным сводом над висками. Жизненная сила Эразма, беззащитного перед реальностью, находит выражение лишь в работе мозга.

Одно это сияние духовности делает значительным лицо Эразма, и потому несравненен, незабываем портрет Гольбейна*, запечатлевший Эразма в священный миг, в момент творческого труда, — это его шедевр из шедевров и, пожалуй, вообще самое замечательное изображение писателя, магически овеществляющего в своих строках слово. Вспомним эту картину — видевший однажды не сможет ее забыть! Эразм стоит перед конторкой, и всем существом ты чувствуешь: он один. Тишина царит в комнате, дверь позади работающего, должно быть, закрыта, никто не войдет, ничто не шевельнется в тесной келье, да что бы ни происходило вокруг, этот человек, погруженный в себя, захваченный творчеством, ничего не заметит. Окаменело-спокойным кажется он в своей неподвижности, но если к нему приглядеться, увидишь, что это вовсе не спокойствие, а полная захваченность ка-

кой-то таинственной внутренней жизнью. Ибо свещующийся голубизной взгляд в напряженной сосредоточенности (как будто свет лучится из зрачков) следит за строками, которые выводит на белом листе правая, узкая и изящная, почти женская рука, послушная приказу свыше. Рот сомкнут, тихо и прохладно блестит лоб; кажется, что перо движется по молчаливому листу с механической легкостью. Нет, маленький вздутый мускул между бровей выдает незримую, неприметную, но интенсивную работу мысли. Эта небольшая, судорожная складка близ творческой зоны мозга почти физически дает ощутить болезненность борьбы за возможность выразить свою мысль, за верно найденное слово. Работа мысли проявляется почти телесно, и ты понимаешь: вокруг этого человека всё — напряженность и напряжение, тишина здесь пронизана тайными токами.

В этом портрете великолепно запечатлен обычно неуловимый момент химического превращения, когда духовная материя обретает форму, писание становится явлением. Можно рассматривать его часами, вслушиваясь в эту вибрирующую тишину: изобразив Эразма за работой, Гольбейн увековечил святую серьезность всякого труженика духа, не-

видимое терпение всякого истинного художника. Один лишь этот портрет дает представление о сущности Эразма, здесь чувствуешь силу, скрытую в этом маленьком убогом теле, которое он влачил на себе, как носит улитка постылый свой домик. Всю жизнь Эразм страдал от ненадежности своего здоровья, ибо, обделив его мышцами, природа не поспешила на нервы. Уже в ранней юности он близок к неврастении и, вероятно, к ипохондрии из-за чрезмерной чувствительности своего тела; слишком скуден, слишком дыряв щит здоровья, которым его снабдила природа, всегда какое-нибудь место остается незащищенным и уязвимым. То откажет желудок, то схватит ревматизм, то донимают камни в почках, то злыми клещами вцепится подагра; любое дуновение действует на него, как холод на больной зуб, и письма его — это сплошная история болезни. Никакой климат не устраивает его вполне: он стонет от жары, впадает в меланхолию от тумана, он ненавидит ветер, мерзнет от малейшего похолодания, но в то же время не выносит перетопленной печи, запах несвежего воздуха вызывает у него дурноту и головную боль. Напрасно кутается он в меха и плотные одежды — недостает природной теплоты тела; чтобы с грехом

пополам разогреть вялую кровь, он каждый день употребляет бургундское. Но если вино хоть чуть с кислинкой, подает сигнал тревоги кишечник. Привыкший к хорошей кухне, этот истинный эпикуреец* чувствует настоящий страх перед дурным питанием, потому что от испорченного мяса желудок его бунтует, а от одного запаха рыбы к горлу подступает спазм. Эта чувствительность вынуждает его быть слишком разборчивым, культура становится его потребностью: Эразм может носить лишь тонкие и теплые ткани, спать только в чистой постели, на его рабочем столе нет места коптящей лучине — только дорогие восковые свечи. От этого всякое путешествие становится неприятной авантюрой, и отчеты вечного странника «об ужасных немецких гостиницах» составляют незаменимый с культурно-исторической точки зрения и в то же время забавный дневник проклятий и дорожных впечатлений. В Базеле он каждый день по пути домой делает крюк, чтобы обойти дурно пахнущие переулки, потому что любая грязь, шум, мусор, чад, а если перейти в области духовного, любая грубость и суматоха причиняют адские муки его чувствительной натуре; когда однажды в Риме друзья ведут его на бой быков, он заявляет с отвращением, что «не на-

ходит никакого удовольствия в таких кровавых играх, в этом пережитке варварства»; его внутренняя утонченность страдает от всякого проявления некультурности. В век полного пренебрежения к телу этот одинокий гигиенист отчаянно ищет среди варварства той же чистоты, какой он, художник, писатель, добивается в своем стиле, в своем труде; его нервный организм предъявляет грубокостным, толстокожим, с железными нервами современникам культурные требования позднейших веков. Но страх из страхов для него — чума, которая в ту пору бродит повсюду, как убийца. Стоит ему услышать, что черная зараза объявилась где-нибудь в ста милях, как мороз пробегает у него по коже, он немедленно складывает пожитки и бежит, ни на что не оглядываясь: пусть сам император призвал его для совета, пусть ждут его заманчивейшие предложения — для него было бы попросту унизительно видеть свое тело покрытым язвами, гноем или насекомыми. Эразм никогда не отрицал преувеличенного страха перед всякой болезнью и, как человек от мира сего, не стыдился честно признать, что его «трясет от одного имени смерти».

Как всякий, кто любит работать и считает свою работу важной, он не желает оказаться жертвою

тупого, идиотского случая, глупой заразы, и, лучше, чем кто-либо другой, зная себя, свою приращенную телесную слабость, свою нервную, особую уязвимость, он бережет и щадит свое маленькое чувствительное тело. Он избегает пышного хлебосольства, заботливо следит за чистотой и доброкачественностью пищи, он сторонится соблазнов Венеры, но пуще всего страшится Марса, бога войны. Чем сильнее его донимают с возрастом телесные недуги, тем более сознательно его образ жизни начинает походить на беспрестанный арьергардный бой, чтобы спасти хоть немного покоя, уверенности, уединения, потребных ему для единственной в жизни радости — работы. Только это самоограничение, эта забота о гигиене позволяют Эразму осуществить невероятное — протащить непрочную колымагу своего тела в течение семидесяти лет сквозь самые бурные и смутные времена, сохранив единственное, что ему действительно было важно: ясность взгляда и неприкосновенность внутренней свободы.

Ненадежность телесной конституции не могла не сказаться на характере. Достаточно всмотреться в него, чтобы понять, как мало годился этот хрупкий человек на роль предводителя масс среди

могучих, необузданных натур Ренессанса и Реформации.

«Никакого признака выдающейся отваги», — заключает по его лицу Лафатер, и то же можно сказать о характере Эразма. В нем никогда не было темперамента для настоящей борьбы; Эразм умел лишь защищаться, подобно тем маленьким зверькам, что в опасности прикидываются мертвыми или меняют цвет, охотней же всего он прячет от смуты голову в свою раковину, в свой ученый кабинет: только за валом книг он чувствует себя уверенно.

Почти мучительно наблюдать за Эразмом в решительные мгновения: едва всерьез скрещиваются копыя, он спешит ускользнуть из опасной зоны, прикрывая свой отход ни к чему не обязывающими «если» и «поскольку», колеблется между «да» и «нет», запутывает друзей, злит врагов, и кто рассчитывает на него как на союзника, тот обманывается самым плачевным образом. Ибо Эразм, постоянный в своем одиночестве, никому не желает хранить верность, кроме самого себя. Он инстинктивно отталкивается от всякого решения, которое могло бы его связать; наверное, Данте, человек, страстный в своей любви, из-за этой неопределенности

поместил бы его в преддверие ада, к «нейтральным», к тем ангелам, которые в борьбе между богом и Люцифером не стали ни на чью сторону:

...quel cattivo coro
Degli angeli che non furon rebelli
Ne'fur fedeli a Dio, ma per se foro ¹.

Всякий раз, когда требуется полная отдача, когда надо взять на себя решительное обязательство, Эразм отступает в свою холодную раковину беспристрастности, ни за одну идею в мире и ни за одно убеждение он не собирается мученически сложить голову на плахе. Но никто не сознавал эту всем известную слабость характера так ясно, как сам Эразм. Он готов был подтвердить, что его тело или его душа не содержат ни грана того вещества, из которого природа лепит мучеников, и за образец брал платоновскую шкалу жизненных ценностей, где первыми добродетелями человека объявлялись справедливость и уступчивость, лишь потом

¹ ...ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая *. (Перевод М. Л. Лозинского)

шло мужество. Мужество Эразма проявлялось больше всего в том, что он обладал честностью не стыдиться недостатка мужества (впрочем, во все времена это одна из редких форм честности), и когда однажды его грубо упрекнули за отсутствие борцовской отваги, он ответил с мягкой и величественной улыбкой: «Это был бы жестокий упрек, будь я швейцарским наемником. Но я ученый, и для работы мне нужен покой».

Надежным в этом Ненадежном было, собственно, одно: мозг, работающий неустанно и равномерно, живущий как бы независимо от его слабого тела. Ему неведомы соблазны, усталость, колебания, неуверенность, с ранних лет и до смертного часа он действует с той же ясной светоносной силой. Слабый ипохондрик во плоти и крови, Эразм был титан в труде. Его маленькому телу — ах, как мало он от него брал! — нужно было не больше трех-четырёх часов сна, остальные двадцать часов он работал, читал, писал, вел диспуты, выверял, правил. Он пишет в пути, в тряской повозке, стол в любой гостинице тотчас превращается в его рабочее место. Бодрствовать для него значит пи-

сать, перо как бы становится шестым пальцем его руки. Окопавшись за своими книгами и бумагами, он, как из camera obscura ¹, с ревнивым любопытством наблюдает за всем, что происходит; ни одно научное достижение, ни одно изобретение, ни один памфлет, ни одно политическое событие не пройдут мимо его зоркого взгляда; благодаря книгам и письмам он знает обо всем, что творится на свете. То, что эта связь с действительностью, этот обмен веществ осуществлялись почти исключительно через мозг, через посредство писаного и печатного слова, конечно, приносило в творчество Эразма черты академизма, известный холодок абстракции; как и телу, его произведениям обычно недостает полнокровной сочности, чувственности. Этот человек воспринимает мир одним лишь умственным взором, а не всем живым, жадным существом, но зато его интерес, его научная любознательность захватывает все сферы. Как прожектор, он направляет подвижный луч на все проблемы жизни и с безжалостной, равномерной яркостью высвечивает их — исключительно современный мыслительный аппарат непревзойденной точности и замечательной

¹ Темной комнаты* (лат.).

широты охвата. Пожалуй, ничто не остается неосвещенным, в любой области мысли этот активный, беспокойный, всегда целеустремленный ум разведывает и пролагает путь для позднейших обобщающих усилий. Ибо чутье Эразма подобно волшебной трости: там, где современники, ничего не замечая, проходят мимо, он угадывает золотые и серебряные жилы проблем, которые надлежало вскрыть. Он чувствует, он чувствует их, он на них указывает, но этой радостью первооткрывателя чаще всего и удовлетворяется его нетерпеливо рвущийся дальше интерес, и собственно разработку, извлечение сокровищ, раскопку, промывку, оценку он оставляет тем, кто идет за ним. Тут его граница.

Эразм (или скажем лучше: его изумительно зоркий мозг) лишь освещает проблему, но не решает ее: как телу и крови его недостает пульсирующей страсти, так в творчестве его нет одержимости, ярости, неистовой односторонности; его мир — широта, но не глубина.

Поэтому всякое суждение о странно современной и вместе с тем надвременной фигуре этого человека будет неверным, если оно будет учитывать лишь его труды, а не его влияние. Ведь душа Эраз-

ма была многослойной, он был конгломерат¹ разных дарований, сумма, но не единство. Смелый и пугливый, идущий вперед и останавливающийся перед последним броском, отважный ум и миролюбивое сердце, тщеславный литератор и смиреннейший человек, скептик и идеалист — все противоречия были перемешаны в нем. Прилежный, как пчела, ученый и свободомыслящий богослов, строгий критик времени и мягкий педагог, несколько рассудочный поэт и автор блистательных писем, яростный сатирик и кроткий апостол человечности — все это одновременно вмещал его широкий дух, и ни одно свойство не вытесняло и не подавляло другого. Ибо главный из его талантов — способность сводить воедино противоположности и примирять противоречия — проявлялся не только во внешней жизни, но, так сказать, и под собственной кожей. Такое многообразие, однако, не может по самой своей природе привести к единому результату: то, что мы называем эразмовским духом, эразмовскими идеями, нашло у многих из его последователей гораздо более концентрирован-

¹ Механическое соединение разнородных частей и предметов (лат.).

ное, энергичное выражение, чем у самого Эразма. Немецкая Реформация и Просвещение, свободное исследование Библии, а с другой стороны, сатиры Рабле и Свифта, идея европейского единства и современный гуманизм — все это берет исток в его мыслях, но ничто не назовешь его делом: всюду он давал первый толчок, приводил в движение идеи, но всегда движение обгоняло его. Редко натуры понимающие способны одновременно и на свершения, широта взгляда парализует действенность. «Редко, — как говорит Лютер, — доброе дело затевается из осторожности и мудрости, оно должно совершаться в неведении». Эразм был светочем своего столетия, другие были его силой: он освещал путь, другие умели пройти по нему, в то время как сам он, подобно всякому источнику света, оставался в тени. Но тот, кто указывает путь к новому, заслуживает не меньше чести, чем тот, кто первым по нему ступает.





LAVS
STVLTITIÆ

годы мастерства

С

частлив художник, нашедший тему и форму, которые позволяют ему с гармонической полнотой проявить все свои дарования. Эразму это удалось в блистательной по замыслу и исполнению «Похвале глупости», где братски встретились многоумный ученый, острый критик эпохи и насмешливый сатирик; нигде не выявилось так мастерство Эразма, как в этом произведении, самом знаменитом и к тому же единственном, выдержавшем испы-

тание временем. Причем выстрел не в бровь, а в глаз современности произведен был легко и как бы играючи: действительно, эта великолепная сатира написана наскоро, за семь дней, просто чтоб облегчить душу. Но именно легкость дала ей крылья и беззаботность вольного полета.

Эразм в ту пору перешагнул за четвертый десяток, он не только много читал и писал, но успел глубоко заглянуть в душу человеческую своим трезвым и скептическим взглядом. А жизнь людей оказалась далеко не такой, как бы ему хотелось. Он видел, как мало власти над действительностью имеет разум, видел глупость суетных людских дел. Куда бы он ни бросил взгляд, всюду, как в шекспировском сонете, видел:

Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье...
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока ¹.

Кто, как он, долго бедствовал, пребывая во мраке неизвестности и прося милостыни перед дверь-

¹ Перевод С. Я. Маршака.

ми власть имущих, сердце того напитано горечью, как губка желчью, тому введома неправедность и дурацкая суть всех человеческих деяний; не раз губы его дрожат от гнева и сдавленного крика. Но в глубине души Эразм не *seditiosus*¹, не бунтовщик, натура не радикальная, его умеренный и осторожный темперамент не склонен к резким, патетическим обвинениям.

Эразм начисто лишен наивной и прекрасной в своем безумии веры, будто можно одним махом смести с земли все зло; однако и не гнить же вместе с миром, хладнокровно думает он, если тот сам не может измениться, если обман и самообман, похоже, относятся к числу вечных и неизменных людских свойств. Умный не жалуется, мудрый не волнуется; с презрительной усмешкой на губах взирает он на дурацкие дела и — следуя дантовскому «*Guarda e passa!*»² — продолжает свой упрямый путь.

Но порой, в добрую минуту смягчается и разочарованный, суровый взгляд мудреца; тогда он улыбается, и эта улыбка озаряет мир.

¹ Мятеежник (лат.).

² «Взгляни и проходи» (итал.).

Путь Эразма лежал в те дни (1509 год) через Альпы — он возвращался из Италии. Он видел там полный упадок церковных нравов, видел папу Юлия в облике кондотьера ¹, в окружении войска, епископов, живущих не в апостольской нищете, а в роскоши и кутежах, дерзкую воинственность князей, которые в этой растерзанной стране, как волки, хищно нападали друг на друга, видел надменность властителей, ужаснейшую нищету народа — он глубоко заглянул в бездну людского безрассудства.

Но теперь все это было далеко, как темная туча за озаренным солнцем хребтом Альп. Эразм, ученый, книжник, тряся в седле, при нем не было — особо счастливое стечение обстоятельств — его багажа, его *codices* ² и пергаментов, за которые обычно тотчас ухватывалось его любопытство комментатора.

Его дух вольно реял в вольном воздухе, ему хотелось игры и озорства, идея, чарующая и красочная, как мотылек, сама принеслась навстречу,

¹ Предводителя наемников * (итал.).

² Книг (лат.).

и он привез ее с собой из этого счастливого путешествия.

Добравшись до Англии, он тотчас начинает писать в знакомом светлом загородном доме Томаса Мора шутовское сочинение, желая, собственно, доставить развлечение небольшому кругу людей; в честь Томаса Мора он называет его игрой слов «Eposium moriae»¹ (по-латыни «Laus stultitiae», что ближе всего можно перевести как «Похвала глупости»).

По сравнению с основными трудами Эразма, серьезными, основательными, отягощенными ученостью, эта маленькая дерзкая сатира вызывает вначале ощущение чего-то юношески-задорного, узкобедрого, легконогого. Но не объем и не вес дают произведению внутреннюю стойкость, и как в политике одно меткое словцо, одна убийственная шутка решают зачастую больше, чем демосфеновская* речь, так и в литературе небольшое произведение часто оказывается долговечнее, чем увесистые кирпичи; из ста восьмидесяти томов Вольтера, по сути, осталась жить лишь короткая

¹ Греческое слово «мория» означает «глупость».

шутливая повесть о Кандиде *, из бесчисленных фолиантов плодovitого Эразма — лишь случайный плод бодрого настроения, искрящаяся игра духа — «*Laus stultitiae*».

В этой книге Эразм прибегает к единственному и неповторимому в своем роде приему, к гениальному маскараду: он не сам высказывает свои горькие истины, адресованные сильным мира сего, нет, он отправляет вместо себя на кафедру Стультицию, Глупость, — пусть хвалит сама себя. Это создает забавную *quiproquo* ¹. Никак не понять, кто же, собственно, держит речь: Эразм, говорящий всерьез, или Глупость собственной персоной, которой надо прощать даже грубость и дерзость. Эта двусмысленность обеспечивает Эразму позицию, неуязвимую для нападок; его собственное мнение остается неуловимым, и вздумай кто-нибудь придаться к нему, задетый обжигающим, хлестким ударом или едкой насмешкой, которыми он здесь, не скупясь, сыплет направо и налево, он может отшутиться: «Это сказал не я, а госпожа Стультиция: кто же принимает всерьез дурацкие речи?»

¹ Неразбериху (лат.).

Протаскивать критику контрабандой с помощью иронии и символов было единственным способом выражения свободных мыслей в мрачные времена цензуры и инквизиции. Но мало кому удавалось использовать святое право шутов на вольную речь так удачно, как сделал это Эразм в своей сатире, первом для своего времени и самом смелом и мастерском произведении такого рода. Серьезность и шутка, мудрость и веселое подтрунивание, правда и преувеличение переплетаются здесь в пестрый клубок, который проворно выскальзывает, едва его хочешь взять в руки и принять всерьез. Сравни ее с грубой полемикой, с бездарными препирательствами его современников, понимаешь, как ослепительно и великолепно вспыхнул этот вольный фейерверк во мраке столетия.

Госпожа Глупость в ученой мантии, но с дурацким колпаком на голове (так нарисовал ее Гольбейн) поднимается на кафедру и произносит академическую похвальную речь в свою честь. Только благодаря ей, похваляется Глупость, и ее служанкам, Лести и Самолюбию, продолжается ход мировых событий.

«Без меня никакое общество, никакие житейские связи не были бы приятными и прочными: на-

род не мог бы долго сносить своего государя, господин — раба, служанка — госпожу, учитель — ученика, друг — друга, жена — мужа, хозяин — гостя, сосед — соседа, если бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости».

Лишь ради наживы старается купец, ради «мгновения суетной славы», неверного светлячка бессмертия творит поэт, лишь безумие делает отважным воителя. Человек разумный и трезвый избегал бы всякой борьбы, он делал бы только самое необходимое для заработка, он не шевельнул бы и пальцем и не стал бы напрягать свой ум, не пусти в нем корней эта дурная трава.

И Глупость раздражается бодрыми парадоксами. Она, и только она, Стультиция, одна дает счастье — ведь человек тем счастливей, чем безоглядней отдается своим страстям, чем бездумней живет. Раздумья и внутренний разлад иссушают душу; не ум и ясность дарят наслаждение, но опьянение, безрассудство, дурман; без щепотки глупости нет настоящей жизни, и бесстрастный праведник с незамутненным взором — отнюдь не образец нормального человека, а скорей аномалия:

«В этой жизни лишь тот, кто одержим глупостью, может воистину именоваться человеком».

Потому и славит себя взахлеб Стультиция как подлинную движущую силу всех людских поступков, словоохотливо показывает, к соблазну слушателей, как все прославленные добродетели — ясность взгляда и правдолюбие, прямота и честность — лишь отравляют жизнь тому, кто вздумает им следовать, и, будучи ко всему еще дамой ученой, гордо цитирует в доказательство своей правоты Софокла: «Блаженна жизнь, пока живешь без дум»*.

Подтверждая свои тезисы на строгий академический лад пункт за пунктом, она ревностно проводит на своем дурацком поводке свидетелей. Каждое сословие демонстрирует на этом большом параде свой род безумия. Проходят маршем риторы¹, буквоеды-правоведы, философы, желающие каждый запихнуть Вселенную в свой мешок, кичащиеся знатностью дворяне, скопидомы, схоласты и писатели, игроки и воины, наконец, влюбленные, вечные пленники глупости, считающие каждый свою возлюбленную воплощением всех прелестей и красоты.

¹ Здесь: болтуны, краснобай.

С несравненным знанием мира Эразм выводит целую галерею человеческой глупости, и великим комедиографам, Мольеру и Бен Джонсону*, достаточно было потом лишь запустить руку в этот театр марионеток, чтобы из обозначенных легким контуром карикатур вылепить своих персонажей. Ни одна разновидность человеческого сумасбродства не пощажена, ни одна не забыта, и именно этой полнотой Эразм себя защищает. Ведь вправе ли кто-нибудь считать себя особо осмеянным, если ни одно другое сословие не выглядит лучше? Наконец-то — и впервые — находят применение универсальность Эразма, все его интеллектуальные силы: шутка и знание, ясность взгляда и юмор. Скептицизм и высота миропонимания гармонично переливаются здесь, как сотни искр и красок взрывающегося фейерверка, возвышенный ум проявляет себя в совершенной игре.

Но по своей внутренней сути «Похвала глупости», любимейшая работа Эразма, для него нечто гораздо большее, чем шутка, и в этом как будто малом произведении он раскрывается полнее, чем где-либо еще, именно потому, что в глубине души сводит здесь некоторые счеты и с самим собой. Эразм, не умевший обманываться ни в чем и ни

в ком, знал подспудную причину той таинственной слабости, что мешала его поэтической, подлинно творческой деятельности: он был слишком разумен, слишком мало страсти было в его чувствах, его стремление быть вне партий и над событиями ставило его порой и вне всего живого. Разум — скорей регулирующая, но сама по себе не творческая сила; для продуктивности, для созидания потребно еще что-то.

На редкость свободный от иллюзий, Эразм всю жизнь оставался свободен и от страстей, великий трезвый праведник, никогда не знавший высшего счастья жизни — полной самоотдачи, святого самоотречения. Единственный раз в этой книге он дал повод догадаться, что сам втайне страдал от своей разумности, своей правильности, своей деликатности и упорядоченности.

Художник всегда уверенней всего творит, когда пишет о том, чего ему самому не хватает, к чему он стремится; так и здесь: человек разума *par excellence*¹, он был создан, чтобы сочинить гимн Глупости и умнейшим образом наставить нос тем, кто склонен обожествлять этот самый ум.

¹ По преимуществу (франц.).

Однако высокое искусство маскарада не должно вводить в заблуждение относительно его истинных целей. За карнавальной маской шутовской «Похвалы глупости» скрывалась одна из опаснейших книг своего времени, и то, что сейчас восхищает нас просто как вдохновенный фейерверк, в действительности было взрывом, расчистившим путь немецкой Реформации. «Похвала глупости» принадлежит к числу самых действенных памфлетов, когда-либо написанных.

С горечью, неприятно пораженные, возвращались в ту пору немецкие паломники из Рима, где папа и кардиналы вели расточительную, безнравственную жизнь итальянских князей; истинно религиозные натуры все нетерпеливей требовали «реформы церкви с головы до ног».

Но Рим отвергал любые протесты и возражения, даже самые благонамеренные: на костре, с кляпом во рту, каялись те, кто высказался слишком громко, слишком страстно; лишь в терпких народных стихах да смачных анекдотах находила скрытую разрядку горечь от злоупотребления торговлей реликвиями и индульгенциями; тайком ходили по рукам листовки, изображавшие папу в виде огромного паука-кровососа. Эразм публично при-

гвоздил список прегрешений церкви к стене времени: мастер двусмысленности, он использует свой великолепно найденный прием, чтобы от лица Стультиции высказать все опасное, но необходимое для решительной атаки против неприглядных дел церковников. И хотя кнутом хлещет якобы дурацкая рука, всем ясно, о ком речь. «Если бы верховные первосвященники, наместники Христа, попробовали подражать ему в своей жизни — жили бы в бедности, в трудах, несли людям его учение, готовы были принять смерть на кресте, презирали бы все мирское, — чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Сколь многих выгод лишился бы папский престол, если б на него хоть раз вступила Мудрость! Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, власти, должностей, отступлений от церковного закона, всех сборов, индульгенций, коней, мулов, телохранителей, наслаждений! Вместо этого — бдения, посты, слезы, проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, покаянные вздохи и тысяча других столь же горестных тягот».

И вдруг Стультиция выходит из своей дурацкой роли и с недвусмысленной ясностью провозглашает требования грядущей Реформации:

«Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, что из этого следует? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье совлекли с себя и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, — не того, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напроочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно благочестие».

Шутка вдруг оборачивается сугубой серьезностью. Из-под шапки с бубенцами смотрит ясным строгим взором великий критик эпохи; Глупость высказала то, что просится на уста тысяч и сотен тысяч. Сильней, понятней, убедительней, чем в любом другом сочинении того времени, миру показана необходимость решительной реформы церкви.

Прежде чем воздвигнуть новое, всегда надо пошатнуть авторитет существующего. Просветитель всегда предшествует преобразователю: чтобы почва готова была принять посев, ее надо сначала вспахать.

Однако голое отрицание и бесплодный критицизм в какой бы то ни было области не свойственны духовной организации Эразма; он ничего не осуждает ради высокомерного удовольствия судить, а указывает на извращения, чтобы потребовать правильного. Грубая иконоборческая* атака против католической церкви чужда Эразму. . . Он мечтает о «reflorescentia»¹, религиозном Ренессансе, о возврате к былой назарейской чистоте*. Как Ренессанс дал прекрасную новую молодость искусству и науке, напомнив об античных образцах, так Эразм надеется облагородить погрязшую в суете церковь, если будут расчищены ее изначальные истоки, если она вернется к евангельскому учению, а значит, к слову самого Христа — «откроет Христа, погребенного под догматами». Эта высокая мечта ставит Эразма — он и здесь, как всюду, предтеча — во главе Реформации.

Но, пролагая путь к реформе церкви, Эразм, в силу своего связующего, предельно миролюбивого склада страшится открытого раскола. Он никогда не станет в резком, безапелляционном тоне Лютера, Цвингли или Кальвина утверждать, что

¹ Обновлении (лат.).

в католической церкви верно, а что неверно, какие таинства допустимы, а какие нет. Не поклонение святым, не паломничества и распевание псалмов, не богословская схоластика делают человека христианином, а его нравственность, христианская жизнь. Лучше всего служит святым не тот, кто читает мощи, кто совершает паломничества и жжет больше всего свечей, а тот, кто благочестив в повседневной жизни.

Все, что было этически ценного у разных народов и религий, Эразм готов включить как плодотворный элемент в идею христианства.

«Святой Сократ!» — восторженно восклицает он однажды.

Все благородное и великое, что есть в прошлом, должно быть введено в сферу христианства, подобно тому как евреи в свой исход из Египта взяли с собой всю утварь из золота и серебра, дабы украсить ими храм. В представлении Эразма, все, что можно считать значительным достижением морали, нравственного духа, не должно быть отгорожено от христианства неподвижной стеной, ибо в делах человеческих нет истин христианских и языческих — истина божественна во всех своих проявлениях. Поэтому Эразм всегда говорит не о «тео-

логии Христа», не о вероучении, а о «философии Христа», то есть о жизнеучении: христианство для него лишь иное обозначение высокой и гуманной нравственности.

В сравнении с пластической мощью католической экзегезы ¹ или пламенными страстями мистиков идеи Эразма могут показаться несколько плоскими и слишком общими, но они гуманны; как и в других областях, воздействие Эразма здесь не столь глубоко, сколь широко. Его «Enchiridion militis christiani» — «Кинжал христианского воина»*, сочинение, написанное по просьбе знатной благочестивой дамы в назидание ее мужу, становится настольной книгой по богословию, подготовившей почву для боевых, радикальных требований Реформации.

Но не войны хочет этот одиноко вопиющий в пустыне, его цель — в последний момент отвести компромиссными предложениями нависшую угрозу.

В пору, когда на всех церковных соборах разгорается ожесточенная перебранка вокруг мельчайших деталей догмы, он мечтает о синтезе всех

¹ Толкование и объяснение библейских текстов (греч.).

достойных форм духовной веры, о rinascimento¹ христианства, которое бы навсегда избавило мир от вражды и раздоров и возвысило веру.

Поразительна многогранность Эразма. В «Похвале глупости» этот неподкупный критик эпохи вскрыл злоупотребления католической церкви, в «Кинжале христианского воина» предвосхитил более позднюю идею очеловеченной религиозности; он осуществляет свою теорию о необходимости «расчистить истоки христианства», взявшись как текстолог, филолог и толкователь за новый перевод Евангелия* с греческого на латинский — труд, проложивший дорогу Лютеру переводу Библии и имевший для своего времени почти такое же значение.

Инстинктивно чувствуя потребности времени, Эразм за пятнадцать лет до Лютера указывает на решающую важность этой работы. «Не могу выразить, — пишет он в 1504 году, — как душа моя на всех парусах стремится к Священному писанию и как ненавистно мне все, что сдерживает

¹ Возрождению (*итал.*).

или задерживает меня». Евангельские рассказы о жизни Христа не должны оставаться привилегией монахов и священников, знающих латинский язык, «пусть крестьянин повторяет их за пахотой, ткач за своим станком», пусть матери рассказывают их детям с колыбели.

Эразм как ученый обнаруживает, что и Вульгата, единственный латинский перевод Библии, одобренный и признанный церковью, полон темных, неверно истолкованных мест и в филологическом смысле сомнителен.

Он предпринимает колоссальный труд и заново переводит Новый завет на латынь, сопроводив своим комментарием все разночтения и вольности. Этот новый перевод, изданный вместе с греческим оригиналом в 1516 году Фробеном в Базеле, оказывается революционным шагом в теологии.

Но что типично для Эразма: даже совершая переворот, он столь искусно соблюдает внешние формы, что мощный удар не превращается в столкновение.

Чтобы заранее обезвредить любые нападки богословов, он посвящает этот первый свободный перевод Библии владыке церкви, папе. И Лев X,

сам настроенный гуманистически, дружелюбно отвечает в послании: «Мы были рады». Да, он даже хвалит Эразма за усердие в святом деле.

Этими книгами Эразм покорил свою эпоху. Он сказал проясняющее слово по самой важной, животрепещущей проблеме, и сказал с таким спокойствием, таким пониманием, такой человечностью, что сразу снискал всеобщую симпатию. Человечество всегда благодарно тем, кто верит в творческую силу разума. И можно понять, с какой радостью после распаленных монахов, фанатиков, дурных зубоскалов и заумных схоластов Европа наконец обрела гуманиста, благожелательную душу, человека, верящего в этот мир и стремящегося внести в него ясность. И как всегда, когда кто-то подступает к решающей для эпохи проблеме, вокруг него собирается община единомышленников. Все силы, все нетерпеливые надежды на то, что науки позволят облагородить нравы и возвысить род людской, сосредоточились для них, наконец, в этом человеке: он или никто, думают они, способен снять чудовищное напряжение, накопленное временем.

Одна только литературная слава давала Эразму в начале шестнадцатого века невиданное доселе могущество. Будь он более смел, он мог бы диктаторски воспользоваться им. Но действие — не его стихия. Эразму дано лишь прояснить, но не формировать, лишь подготавливать, но не исполнять. Не его имя начертано на знамени Реформации, другой пожнет то, что он посеял.



Величие и ограниченность гуманизма



Между сорока и пятьюдесятью годами Эразм Роттердамский достигает зенита славы. Ни имя Дюрера, ни имя Рафаэля, Леонардо, Парацельса или Микеланджело не произносится в духовном космосе того времени с таким благоговением, ничьи труды не распространяются в столь бесчисленных изданиях, ничье влияние не сравнимо с влиянием Эразма.

Эразм — воплощение мудреца, «*optimum et maximum*» — «самый лучший и самый высокий»,

как прославляет его Меланхтон * в своей латинской оде. Он непререкаемый авторитет в науке, в поэзии, в делах светских и духовных. Его превозносят как «*doctor universalis*» ¹, как «князя науки», «отца исследований» и «защитника истинного богословия», его называют «светочем мира», «пифией Запада», «*vir incomparabilis et doctorum phoenix*» ². Никакая похвала не считается для него чрезмерной. «Эразм, — пишет Муциан*, — превосходит человеческую меру. Он божествен, и его следует поминать в благочестивых молитвах как святого», а у другого гуманиста, Камерария*, находим: «Им изумляется, его воспевают и превозносят каждый, кто не хочет прослыть чужаком в царстве муз. Кому удастся выудить у него письмо, тот обретает славу и празднует великий триумф. Удостоившийся же поговорить с ним поистине блажен в этом мире».

Действительно, все наперебой добиваются расположения недавно еще безвестного ученого, который когда-то едва поддерживал свое существование уроками, посвящениями и прошениями, который

¹ Универсального ученого (лат.).

² Мужем несравненным и фениксом ученых (лат.).

унижался, чтобы получить от сильных мира сего скудную подачку. Теперь они сами обхаживают его, а это славное зрелище — видеть, как земная власть и деньги вынуждены служить мысли. Император и короли, князья и герцоги, министры и ученые, папы и прелаты подобострастно соревнуются за право залучить его к себе: император Карл, повелитель обоих миров*, предлагает ему место в своем совете, Генрих VIII зовет в Англию, Фердинанд Австрийский — в Вену, Франциск I — в Париж, из Голландии, Брабанта, Венгрии, Польши и Португалии идут заманчивейшие приглашения, пять университетов спорят за честь видеть его на своих кафедрах, три папы пишут ему почтительные письма. В его комнате громоздятся добровольные дары богатых почитателей, золотые кубки и серебряная посуда, ему шлют возы вина и драгоценные книги — все манит, все зовет его, чтобы его слава умножила их собственную. Умный, скептический Эразм вежливо принимает все эти дары и почести. Он позволяет себя одаривать, позволяет себя славить и чествовать, даже с охотой и явным удовольствием, но купить себя не дает. Он позволяет служить себе, но сам ни к кому на службу поступать не намерен. Непоколебимый в отстаивании

внутренней свободы, неподкупный художник, без чего невозможно никакое моральное влияние, он знает, в чем его сила. Глупо отпускать свою славу в странствие от двора к двору — пусть лучше, как звезда, сияет спокойно над его собственным домом. Эразму давно уже нет надобности ни к кому ездить — все едут к нему. Базель благодаря ему становится духовным центром мира. Ни один человек, заботящийся о своей репутации, не упускает случая, оказавшись здесь проездом, засвидетельствовать свое почтение великому мудрецу, ибо разговор с Эразмом был чем-то вроде посвящения в рыцари культуры, визит к нему (как в восемнадцатом веке к Вольтеру, а в девятнадцатом к Гете) — свидетельством благоговения перед символическим носителем невидимой духовной власти. Чтобы заполучить в книгу для памятных записей его собственноручную подпись, самые знатные дворяне и ученые пускаются в многодневное паломничество. Кардинал, племянник папы, после трех безуспешных попыток пригласить Эразма к себе на обед не считает для себя зазорным разыскать его в грязной типографии Фробена. Письмо от Эразма переплетают в парчу и показывают благоговейно, как реликвию, друзьям. Рекомендация метра, словно Се-

зам, открывает все двери. Даже Гете и Вольтер не обладали в Европе такой властью, даваемой единственно духовным авторитетом.

Сейчас даже трудно до конца понять это несравненное положение Эразма: ни творчество его, ни личность не могут этого объяснить. Для нас это умный, гуманный, многосторонний и многообразный, интересный и притягательный, но отнюдь не захватывающий, преобразующий мир мыслитель. Однако для своего века Эразм был больше, чем литературное явление, он был символом самых сокровенных духовных устремлений. Каждая эпоха, ищущая обновления, воплощает свой идеал в конкретной фигуре. Дух времени словно избирает какого-либо человека, чтобы наглядней выразиться в нем. Эта потребность времени на какой-то миг со всей полнотой выразилась в Эразме, поскольку идеалом нового поколения стал «*uomo universale*»¹ — человек многогранный, многознающий, свободно глядящий в будущее. В гуманизме время славит отвагу мысли, новую надежду. Впервые духовная власть оказывается выше наследственной. Силу и быстроту этой переоценки ценностей доказывает

¹ Человек универсальный (итал.).

тот факт, что земные властители добровольно подчиняются этой новой власти. Разве не символично, когда Карл V, к ужасу своих придворных, склоняется, чтобы поднять кисть, которую уронил сын пастуха Тициан, когда папа, послушный грубому приказу Микеланджело, покидает Сикстинскую капеллу, дабы не мешать мастеру, когда принцы и епископы вместо оружия вдруг начинают коллекционировать книги, картины и рукописи? Тем самым признается главенство творческой мысли и возникает убеждение, что художественные творения переживут время.

Знаменосцем этого нового умонастроения время избирает Эразма — «антиварвара», борца против отсталости и косности, провозвестника гуманности, грядущего содружества граждан мира. С высоты сегодняшнего дня нам, пожалуй, кажется, что ищущий, великолепный, боевой, фаустовский дух столетия несравненно ярче воплотился в других, более глубоких типах «uomo universale» — в Леонардо и Парацельсе. Но именно те свойства, из-за которых в конечном счете рухнуло величие Эразма: его ясность (часто слишком прозрачная), его нежелание забираться чересчур глубоко, его деликатность — в ту пору составляли его силу. Время ин-

стинктивно сделало верный выбор: всякое обновление мира, его коренная перепашка начинается исподволь. Эразм — символ тихо, но неудержимо действующего разума. На какой-то дивный миг Европа сплочена гуманистической мечтой о единой цивилизации, о мировом языке, мировой религии, мировой культуре, которые положат конец извечным роковым распрямам, и эта незабываемая попытка знаменательно связана с именем Эразма из Роттердама. Ибо его идеи, желания, мечты в тот час завладели Европой, и в том, что этот искренний порыв к окончательному единению и примирению Запада остался лишь быстро забытым эпизодом в писанной кровью истории нашего общего отечества, состоит его и наша драма.

Империя Эразма, впервые — знаменательный час! — объявлявшая все страны, народы и языки Европы, была царством кротости. Ведь гуманизм, возвысившийся единственно благодаря своей духовной притягательности, чужд насилию. Добрая воля и внутренняя свобода — вот конституция этого незримого государства. Оно привлекает своим гуманистическим и гуманитарным идеалом, подобно тому как свет в темноте манит в свой чистый круг бродящее вокруг зверье. Гуманизм не знает

врагов и не хочет рабов. Кто не желает принадлежать к избранному кругу, пусть остается вне его, никто не принуждает, никто не тянет его насильно к этому новому идеалу; всякая нетерпимость — всегда порождаемая внутренним непониманием — чужда этому учению о мировом согласии. В то же время никому не заказан доступ в эту новую духовную гильдию. Каждый, у кого есть потребность в образовании и культуре, может стать гуманистом, любой человек из любого сословия, будь то мужчина или женщина, рыцарь или священник, король или купец, мирянин или монах, может вступить в эту вольную общину. «Весь мир — одно общее отечество», — провозглашает Эразм в своей «*Querela pacis*» («Жалобе Мира»); бессмысленными кажутся ему смертоубийственные распри между нациями, вражда между англичанами, немцами и французами.

И прежде пытались объединить Европу — римские цезари, Карл Великий, потом этим займется Наполеон; но все эти самодержцы действовали огнем и мечом, разбивая, как молотом, кулаком завоевателя более слабых, чтобы присоединить их к своему, более сильному государству. Для Эразма — коренная разница! — Европа —

это прежде всего духовная общность, не имеющая ничего общего с каким бы то ни было эгоизмом; с него начинается не исполненный и поныне лозунг Соединенных Штатов Европы под знаком общей культуры и цивилизации.

Безусловной предпосылкой для взаимопонимания Эразм считает отказ от насилия и прежде всего от войны, которая означает «крах всех добрых дел». Его можно назвать первым в литературе теоретиком пацифизма. В эпоху беспрерывных войн он написал по меньшей мере пять работ против войны: в 1504 — призыв к Филиппу Красивому, в 1514 — к епископу Камбрейскому («Как князь христианства Вы могли бы ради Христа добиваться мира»), в 1515 — знаменитый раздел «Адагий» под вечно справедливым названием «*Dulce bellum inexpertis*» («Война сладка тому, кто ее не изведal»). В 1516 году в «Воспитании христианского государя» он обращается к молодому императору Карлу V, предостерегая его от войны. Наконец, в 1517 году выходит и распространяется на всех языках никем, однако, не услышанная «*Querela pacis*» — «Жалоба Мира», отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного.

Но уже тогда, почти за полтысячелетия до нашего времени, Эразм знает, как мало может рассчитывать на благодарность и одобрение красноречивый поборник мира: «Доходит до того, что раскрыть рот против войны кажется зверским, глупым и нехристианским». Это не мешает ему, однако, с неутомимой решительностью вновь и вновь, в век кулачного права и грубейшего насилия, выступать против драчливости князей. Цицерон*, считает он, прав, когда говорит, что «неправедный мир все же лучше праведнейшей войны», и весь арсенал аргументов, из которого обильно можно черпать и по сей день, этот одинокий боец направляет против войны. «Когда нападают друг на друга звери, — сетует он, — это можно понять и извинить: они неразумны», но люди должны бы уразуметь, что война по сути своей означает несправедливость, так как обычно она всей тяжестью своей обрушивается не на тех, кто ее разжигает и возглавляет, а на невинных, на несчастный народ, который не выигрывает ни от победы, ни от поражения. «Больше всего получают те, кого война и не затрагивает, и даже если кому-то, по счастью, в войне повезет, для других его счастье означает беду и гибель». Война по самой природе не имеет ничего

общего со справедливостью, а раз так — может ли вообще быть справедливой война? Для Эразма истина, как и закон, всегда многозначна и многоцветна, поэтому «государь никогда не должен быть так осмотрителен, как думая о вступлении в войну, и незачем ему кичиться своим правом, потому что кто считает неправым свое дело?». Всякое право о двух концах, все «расцветчено, окрашено, все испорчено пристрастиями», но даже если кто-то считает себя правым, силой ничто не доказывается и ничто не кончается, ибо «одна война растет из другой, была одна — будет две».

Для людей мыслящих оружие никогда не является аргументом в споре. Эразм подчеркивает, что в случае войны мыслители, ученые всех наций не должны разрывать своей дружбы. Их долг — не усугублять своими пристрастиями противоречий между народами, расами и сословиями, а держаться чистых сфер человечности и справедливости. Их задача — противопоставлять «недоброй, нехристианской, зверской дикости и бессмысленности войны» идею мировой общности и мирового христианства. Ни за что Эразм так горячо не упрекает церковь, высшую моральную инстанцию, как за то, что она ради земной власти поступилась великой августи-

ской¹ идеей «христианского всесветного мира»: «Богословы, наставники христианского благочестия не стыдятся быть подстрекателями, поджигателями, зачинщиками дел, столь ненавидимых господом Христом нашим! — восклицает он гневно. — Как можно совмещать епископский посох и меч, митру и шлем, Евангелие и щит? Как можно проповедовать Христа и войну, одной трубой трубить богу и дьяволу?»

Человек, описавший в «Похвале глупости» все разновидности неисправимого людского неразумия и безумия, не принадлежал, однако, к числу тех мечтателей, которые считают, что писанным словом, книгами, проповедями и трактатами можно искоренить свойственную человеку склонность к насилию, которая бродит в его крови еще с людоедских времен. Он знал, что элементарные инстинкты не заговоришь словами о добре и морали, и принимал варварство в этом мире как данность, силу, пока непреодолимую. Поэтому он вел свою борьбу в иной сфере. Мыслящий человек, он обращался лишь к мыслящим, не к тем, кого ведут и вводят в соблазн, а к тем, кто ведет, — к князь-

¹ См. прим. к стр. 219.

ям, священникам, ученым, художникам, к тем, кого он считал ответственными и на кого возлагал ответственность за согласие в Европе. Дальновидный мыслитель, он давно постиг, что опасна не сама по себе склонность к насилию. Насилие быстро выдыхается, оно все крушит со слепым бешенством, но без цели, без мысли и после резкой вспышки бесильно сникает. Даже если оно оказывается заразительным и захватывает целые толпы, эти неуправляемые толпы рассеиваются, едва спадает первый пыл. Инквизиция, костры и эшафоты порождены на свет не слепым насилием, а фанатизмом, этим гением односторонности, этим пленником единственной идеи, готовым весь мир упрятать в свою темницу.

Поэтому для гуманиста Эразма, считавшего самым высоким и святым достоянием человечества единство, тяжкий грех совершает мыслитель, который даст толчок всегдашней готовности масс к насилию. Ибо он пробуждает этим дикие первобытные силы, они вырываются за рамки первоначального его замысла и ничего не оставляют от его самых чистых намерений. Один человек может возбудить и выпустить на волю массовые страсти, но ему почти никогда не дано загнать их обратно.

Кто раздувает тлеющий огонь, должен знать, как разрушительно вспыхнувшее пламя, кто разжигает фанатизм, должен сознавать ответственность за раскол мира.

Эразм за каждой идеей признает право на существование и ни за одной — притязаний на исключительную правоту. Многомудрый гуманист любит мир именно за его многообразие, противоречивость мира его не пугает. Ничто так не чуждо ему, как стремление фанатиков и систематиков упразднить эти противоречия, приведя все ценности к одному знаменателю. Он ищет высшего, общечеловеческого единства для всего, на взгляд, несоединимого. Ведь и в собственной душе Эразм сумел примирить как будто несовместимое: христианство и античность, свободную веру и теологию, Ренессанс и Реформацию, поэтому он готов верить, что человечество однажды сумеет счастливо согласовать многообразие своих проявлений, обратит противоречия в высшую гармонию.

Эразм и эразмисты считают, что человеческое в человеке можно развить с помощью образования и книги, ибо только необразованный, только непросвещенный человек безрассудно отдается своим страстям. Человек образованный, человек цивили-

зованный — вот в чем трагическая ошибка их рассуждений — уже неспособен к грубому насилию, и если победят культурные, образованные, цивилизованные люди, все хаотическое, зверское само собой упразднится, войны и духовные преследования станут анахронизмом. Гуманисты представляют все слишком элементарно: есть два слоя, нижний и верхний; внизу нецивилизованная, грубая, одержимая страстями масса, наверху светлый круг людей образованных, гуманных, понимающих, цивилизованных, и им кажется, что главное будет сделано, если все большую часть низших, еще не затронутых культурой слоев удастся перетянуть наверх. Подобно тому, как европейцы осваивают все больше пустынных земель, где прежде бродили одни лишь дикие опасные звери, так постепенно и в делах человеческих они сумеют выкорчевать непонимание и грубость, создав зону свободной, ясной и плодотворной гуманности. Место религиозной мысли заступает здесь идея неудержимого подъема, прогресса человечества. Но было бы ошибкой видеть в этих гуманистах и тем более в Эразме демократов и предшественников либерализма. Они и не помышляют о том, чтобы дать хоть какие-то права необразованному и незре-

лону народу (для них всякий необразованный — несовершеннолетний); и хотя абстрактно они полны любви ко всему человечеству, иметь что-нибудь общее с *vulgus profanum*¹ они отнюдь не желают. Старое дворянское высокомерие, если приглядеться, сменилось у них лишь новой, прошедшей потом через три столетия академической спесью, которая только за человеком латинской учености, за человеком с университетским образованием признает право судить, что верно, а что неверно, что нравственно, а что безнравственно. Иными словами, гуманисты желали править миром от имени разума, как князья правили от имени силы, а церковь — во имя Христа. Мечтой их была олигархия, господство аристократии образованности: лишь культурнейшие, лучшие должны, как это мыслили греки, взять на себя руководство полисом, государством. Они считали, что превосходство знаний, гуманность и прозорливость возлагают на них роль посредников, руководителей, что они призваны покончить с глупыми и дикими распрями между народами. Но добиться улучшений они собирались отнюдь не с помощью народа, а через

¹ Бессмысленной чернью (лат.).

его голову. Так что в глубоком смысле гуманисты не отменяют рыцарство, а обновляют его в иной, духовной форме. Как те хотели покорить мир мечом, так они надеются сделать это пером и, не создавая того, тоже создают своего рода замкнутые традиции, отделяющие их от варваров, этакий дворцовый церемониал. Они облагораживают свои имена, переводя их на латинский либо греческий, чтобы скрыть свое происхождение, называют себя не Шварцерд, а Меланхтон, не Гейсхюзлер, а Микониус, не Ольшлегер, а Олеариус, они носят черные ниспадающие одежды, чтобы и внешне выделиться себя из среды прочих горожан. Написать книгу или письмо на родном языке показалось бы им столь же унижительным, как рыцарю маршировать в толпе с обычной пехотой вместо того, чтобы скакать на коне во главе войска. Каждый считает, что общекультурный идеал обязывает его лично к особому благородству в манерах и обращении, они избегают резких слов и в век грубости и неотесанности почитают за особый долг культивировать светскую вежливость. В разговорах и сочинениях, в речи и поведении эти аристократы духа заботятся о благородстве мысли и выражения — последний блеск вымирающего ры-

царства, которое кончилось с императором Максимилианом*, отразился в этом духовном ордене, сделавшем своим знаменем книгу вместо креста. И как прекрасно, но бессильно уступило рыцарство грубой мощи изрыгающих железо пушек, так и это благородное идеалистическое воинство уступит мощному напору народной революции Лютера и Цвингли.

Ибо именно это игнорирование народа, это равнодушие к действительности заранее обрекало царство Эразма на недолговечность и лишало его идеи действенной силы: коренная ошибка гуманизма заключалась в желании поучать народ сверху вместо того, чтобы попытаться понять его и поучиться у него. Эти академические идеалисты считали себя уже господами положения, поскольку их царство простиралось повсюду, поскольку во всех странах, при всех дворах, университетах, монастырях и церквях у них были свои слуги, посланники и легаты, которые гордо сообщали о продвижении «*eruditio*» и «*eloquentia*»¹ в до сих пор варварские области, но в глубину это царство захватывало лишь тонкий поверхностный слой

¹ Образования и красноречия (лат.).

и в действительности укоренено было слабо. Когда каждый день письма из Польши и Богемии, из Венгрии и Португалии приносили Эразму вдохновляющие вести, когда императоры, короли и папы, властители всех стран божьего мира добились его расположения, Эразм порой мог поддаться безумной вере, будто уже заложены прочные основы царства разума. Но он не слышал за этими латинскими письмами молчания огромных многомиллионных масс, как не слышал ропота, который все грозней поднимался из этих бездонных глубин. Народа для него не существовало, он считал грубым и недостойным человека образованного домогаться расположения масс и вообще связываться с необразованными, с «варварами»; гуманизм всегда был лишь для *harri few*¹, а не для народа, его платоническое общечеловеческое царство оставалось в конечном счете царством заоблачным — чистое, дивное порождение творческого духа, ненадолго озарявшее с блаженных высот омраченный мир. Но настоящей бури — она уже зреет во мраке — это холодное и искусственное создание не выдержало, без борьбы отойдя в прошлое.

¹ Немногих избранных (англ.).

Ибо глубочайшая трагедия гуманизма и причина его быстрого заката состояла в том, что великими были его идеи, но не люди, их провозглашавшие. Что-то смешное есть в этих кабинетных идеалистах. Все они — сухари, благонамеренные, порядочные, немного тщеславные педанты; латинские имена их напоминают духовный маскарад, педантизм школьных учителей, как пыль, припорошивает их самые цветущие мысли. Эти меньшие сотоварищи Эразма трогательны в своей профессорской наивности, они слегка напоминают тех бравых господ, которых и теперь увидишь на собраниях филантропических обществ, — идеалисты-теоретики, верующие в прогресс, как в религию, трезвые мечтатели, конструирующие за своими бюро принципы нравственности и тезисы вечного мира, в то время как в мире действительном война следует за войной и те же самые папы, императоры и князья, которые рукоплесканиями встречают их идеи взаимопонимания, одновременно вступают в союзы друг с другом и друг против друга, ввергая мир в пожар. Стоит обнаружить неизвестную рукопись Цицерона — и этот гуманистический клан уже уверен, что вселенная должна содрогнуться от ликования, каждый маленький памфлетик бросает их в жар и в хо-

лод. Но они не знают и не хотят знать, что волнует людей улицы, что подспудно бродит в глубине масс, и, поскольку они замкнуты в своих кабинетах, их самые благие слова не находят никакого отклика в действительности. Эта роковая обособленность, этот недостаток страстности и народности лишил истинной плодотворности идеи гуманистов. Великолепный оптимизм их учения не получил творческого развития, ибо ни одному из этих теоретиков общечеловеческой идеи не дано было той природной, несокрушимой мощи слова, чтоб его могли услышать народные низы. Великая, святая мысль засохла на несколько столетий в этом вялом семействе.

И все же прекрасен был этот час, когда святое облако веры в человечество озарило своим мягким, некровавым сиянием землю нашей Европы; пусть слишком поспешной была безумная мысль, что народы уже умиротворены и объединены под знаком разума, она заслуживает благодарности и уважения. Миру всегда нужны были люди, отказывающиеся верить, что история — это лишь однообразное тупое самоповторение, спектакль, бессмысленно возобновляющийся все в новых костюмах, — лю-

ди, продолжающие вопреки всему надеяться на нравственный прогресс, на то, что последняя, высшая ступень человеческого взаимопонимания уже близка, уже почти достигнута. Ренессанс и гуманизм принесли с собой эту оптимистическую веру: потому и любим мы это время, и воздаем должное его плодотворному безумству. Впервые тогда наш европейский род ощутил, что он способен превзойти все былые эпохи и достичь большей высоты, знания, мудрости, чем даже Греция и Рим. И действительность как будто подтверждает правоту этих первых глашатаев европейского оптимизма — ведь разве не происходят каждый день удивительные вещи, затмевающие все прошлое? Разве не возродились в Дюрере и Леонардо новые Зевкис и Апеллес*, а в Микеланджело — новый Фидий*? Разве не упорядочила наука светила и весь земной мир по новым ясным законам? Разве золото, текущее из новых стран, не несет нового богатства, а это богатство — нового искусства? И разве Гутенберг не сотворил чудо, которое разносит по всей земле тысячекратно размноженное слово просвещения? Нет, ликуют Эразм и его приверженцы, еще недолго, и человечество, столь щедро одаренное, осознает, что оно призвано жить нравственно, в

братском единстве и окончательно искоренит в себе остатки звериной природы. Как трубный глас, гремит над миром слово Ульриха фон Гуттена*: «Какая радость жить!», — и граждане новой Европы, исполненные веры и нетерпения, видят со стен эразмовского царства сияющую на горизонте полосу света — после долгой духовной ночи она как будто предвещает, наконец, день всеобщего мира.

Но не благословенная утренняя заря занимается над сумрачной землей — это зарево пожара, который поглотит их идеальный мир.

Словно германцы в античный Рим, врывается в их наднациональные мечтания фанатичный Лютер и с ним — неодолимые силы национального народного движения. Гуманизм еще не успел понастоящему приступить к делу всемирного единения, а Реформация уже раскалывает надвое стальным ударом молота *ecclesia universalis* (все-ленскую церковь), последний оплот духовного единства Европы.





могучий противник



оковые силы, судьба и смерть, редко приходят к человеку без предупреждения. Они всегда высылают вперед тихих вестников, правда с закутанными лицами, но почти никто не слышит таинственного зова. Среди множества писем с выражением восторга и почтения, которыми завален стол Эразма в те годы, есть одно от 11 декабря 1516 года, посланное Спалатином*, секретарем курфюрста Саксонского. Между обычными формула-

ми восхищения и учеными сообщениями Спалатин рассказывает, что в их городе есть один молодой августинский монах, высоко чтящий Эразма, но не согласный с ним по вопросу о первородном грехе. Он оспаривает мнение Аристотеля*, будто праведным человека делают праведные поступки, и полагает, со своей стороны, что лишь праведный может праведно поступать: «Сначала надо преобразить личность, потом только последуют дела».

Это письмо принадлежит истории. Ибо впервые слово доктора Мартина Лютера — а неназванный и еще неизвестный монах-августинец есть не кто иной, как он, — обращено к великому учителю, и затронутой сразу же знаменательно оказывается та центральная проблема, по которой поздней так враждебно разойдутся оба великих паладина¹ Реформации. Конечно, тогда Эразм пробегает по этим строкам вполглаза. Глубоко занятый, всеми допекаемый человек, где он еще возьмет время всерьез дискутировать на богословские темы с безымянным монашеском откуда-то из Саксонии? Он читает дальше, не подозревая, что уже начался поворот в его жизни, в целом мире. До сих пор он один был вла-

¹ Верных рыцаря (франц.).

стелин Европы, учитель новой евангелической веры, теперь перед ним встал великий противник. Тихо, чуть слышно постучался он пальцем в его дом, в его сердце — он, Мартин Лютер, еще не назвавший себя по имени; но близко время, когда мир назовет его наследником и победителем Эразма.

За этой встречей Лютера и Эразма в сфере духовной так и не последовало за всю жизнь встречи в сфере земной; прославленные рядом — портрет с портретом, имя с именем — в бесчисленных сочинениях и на множестве гравюр как освободители от римского гнета и первые истинные немецкие евангелисты, они оба с первого до последнего часа инстинктивно избегали друг друга. История, таким образом, лишила нас великолепного драматического эффекта — возможности увидеть обоих великих противников лицом к лицу, с глазу на глаз. Редко судьба рождала на свет двух людей, столь противоположных друг другу и внешне и по характеру, чем Эразм и Лютер. По всей своей сути, по плоти и крови, духовной организации и житейскому поведению, от поверхности кожи до сокровеннейшего нерва они принадлежат к разным, рожденным для противо-

борства типам: миролюбие против фанатизма, разум против страсти, культура против могучей силы, мировое гражданство против национализма, эволюция против революции.

Это проявляется уже во внешнем облике. Лютер — сын рудокопа и потомок крестьянина, здоровый, пышущий здоровьем, грозно и до опасного одержимый своей прущей силой, полный жизненных соков и грубо радующийся жизни: «Я жру, как богемец, и пью, как немец»; его переполняет, распирает мощь и буйство целого народа, соединившиеся в одной незаурядной натуре. Когда он возвышает голос, его речь гремит, как орган, каждое слово сочно, грубо, солено, как свежепеченый ржаной крестьянский хлеб, в нем дышит сама природа, земля с ее запахами, с ее родниками, с ее навозом — дикая и разрушительная, как порыв бури, эта речь несется над немецкой землей. Гений Лютера скорей заключен в его чувственной мощи, чем в его интеллектуальности; как говорит он народным языком, но обогащая его невероятной образной силой, так и мыслит он, инстинктивно ориентируясь на массу, воплощая ее волю, взведенную до высшего накала страсти. С ним в сознание мира прорывается все немецкое, все протестантские и бунтарские немец-

кие инстинкты, а поскольку нация принимает его идеи, он сам входит в историю своей нации. Он возвращает стихии свою стихийную силу.

Если с этого коренастого, мясистого, ширококостного, полнокровного, глыбистого человека, на низком лбу которого грозно вздуваются волевые бугры, заставляющие вспомнить рога микеланджеловского Моисея*, если с этого воплощения плоти перевести взгляд на Эразма — человека духа, тонкого, хрупкого, осторожного, с бледной, цвета пергамента, кожей, глаз прежде рассудка схватит: между подобными антагонистами невозможна дружба или понимание. Один — вечно болезненный, вечно мерзнувший в тени своей комнаты и кутающийся в меха, другой — воплощение почти мучительно рвущегося наружу избытка здоровья. Во всем, чего у Лютера сверх меры, Эразм испытывает недостаток; он вынужден постоянно подогревать свою скудную, бледную кровь бургундским, в то время как Лютер — сопоставление в мелочах всего наглядней — каждодневно потребляет свое «крепкое виттенбергское пиво», дабы на ночь остудить разгоряченные набухшие жилы для доброго непробудного сна. Когда Лютер говорит, дрожит дом, трясется церковь, шатается мир, да и за дружеским

столом он любит хорошенько, во все горло, посмеяться и, после теологии больше всего склонный к музыке, не прочь затянуть громовый напев. Эразм, напротив, говорит слабо и мягко, словно чахоточный, он искусно закругляет, оттачивает фразу, тончайше ее заостряет, тогда как у Лютера речь устремлена вперед и даже перо несется, «точно слепой конь». От личности Лютера веет силой; благодаря своей повелительно-мужественной сути он всех вокруг себя — Меланхтона, Спалатина и даже князей — держит в своего рода услужливом подчинении. Власть Эразма, напротив, сильнее всего проявляется там, где сам он остается невидим: в сочинении, в письме, в писаном слове. Он ничем не обязан своему маленькому, бедному, не стоящему внимания телу и всем — своему высокому, широкому, всеобъемлющему духу.

Но и духовность обоих совсем разной породы. Несомненно, Эразм более зорек и многознающ, ничто в мире ему не чуждо. Ясный и невидимый, как дневной свет, разум его устремляется к тайне сквозь любую щель и зазор, освещает всякий предмет. Горизонт Лютера неизмеримо уже, однако он

более глубок; каждой своей мысли, каждому убеждению он умеет сообщить размах своей личности. Он все вбирает внутрь себя и раскаляет своей красной кровью, каждую идею он напитывает всеми своими жизненными соками, доводит ее до фанатизма, и что однажды он понял и принял, от того никогда не отступится; каждое его утверждение вырастает из самого его существа и получает от него чудовищную силу. Десятки раз Лютер и Эразм высказывали одни и те же мысли, но что у Эразма привлекало лишь мыслителей своей тонкой духовностью, то зажигательная манера Лютера превращала тотчас в лозунг, в боевой клич, в конкретное требование, и этими требованиями он хлещет мир с такой же яростью, как библейские лисы* своими головнями, чтобы воспламенить совесть человечества. Конечная цель всего эразмовского — покой и умиротворенность духа, всего лютеровского — накал и потрясение чувств, поэтому «скептик» Эразм сильнее всего там, где он говорит наиболее ясно, трезво, отчетливо, Лютер же, «*pater extaticus*»¹, — там, где с уст его всего яростней срывается гнев и ненависть.

¹ Отец иступленный (лат.).

Такая противоположность не может не привести к противостоянию даже при общей цели борьбы. Вначале Эразм и Лютер желают одного и того же, но их темпераменты желают этого столь поразному, что возникает антагонизм. Враждебные действия начинает Лютер. Из всех гениальных людей, каких только носила земля, этот, возможно, был самым фанатичным, строптивым, необузданным и воинственным. Он хотел видеть перед собой только людей согласных, чтобы пользоваться их услугами, и несогласных, чтоб, распалив свой гнев, стирать их в порошок. Для Эразма нефанатизм был почти религией, и грубый диктаторский тон Лютера — что бы тот ни говорил — коробил его, резал как ножом по сердцу. Для него, видевшего высшую цель во взаимопонимании между людьми духа, гражданами мира, это гроханье кулаком и пена у рта были просто физически невыносимы, и самоуверенность Лютера (которую тот называл «богouverенностью») представлялась ему вызывающим и почти кощунственным высокомерием в мире, всегда подверженном заблуждениям. Лютер, со своей стороны, должен был ненавидеть вялость и нерешительность Эразма в вопросах веры, это нежелание решать, изворотливость, скользкость,

податливость его убеждений, которые никогда нельзя было определить безусловно. Само эстетическое совершенство Эразмовой «искусной речи», заменявшей ясное изложение позиции, раздражало его желчь.

В самой сути каждого из них было что-то, чего другой по природе не мог переносить. Поэтому трудно считать, что лишь внешние и случайные обстоятельства помешали этим двум первым апостолам нового евангелического учения объединиться для совместного дела. При такой разной окраске крови и духа даже самое схожее должно было бы приобрести разный цвет: различие между ними было органическим. Они поэтому могли из политических соображений и ради общего дела долго щадить друг друга, могли, как два ствола, плыть некоторое время в одном потоке, но при первом же повороте и изгибе пути неминуемо должны были столкнуться: этот исторический конфликт был неизбежен.

Что победителем в этой борьбе окажется Лютер, было заведомо ясно — не просто потому, что он был духовно мощнее; это был привычный к борьбе, радующийся битве боец. Он был создан, чтобы всю

жизнь задирается с богом, с человеком и с чертом. Борьба для него была не только наслаждением и способом разрядить энергию, но прямо-таки спасением для его переполненной природы. Крушить, ссориться, бушевать, спорить было для него своего рода кровопусканием, и, только выйдя из себя, обрушив на кого-либо град ударов, он чувствует себя самим собой; потому он и рад со всей страстью ввязаться в любое правое и неправое дело. «Меня прохватывает чуть не до смерти, — пишет Буцер, его друг, — как подумаю о ярости, кипящей в этом человеке, когда он видит перед собой противника». Ничего не скажешь: уж если Лютер борется, то борется как одержимый, всем существом, с пеной на губах, с распаленной желчью, с налитыми кровью глазами; кажется, что вместе с этим *furor teutonicus*¹ из тела его исходит лихорадящий яд. И верно, лишь изойдя слепой яростью и разрядив в ударах свой гнев, он чувствует себя легче: «вся моя кровь становится свежей, ум светлей, и искушения отступают». На боевом ристалище высокоученый доктор богословия тотчас превращается в ландскнехта: «Едва приду, я начинаю орудовать дубиной».

¹ Тевтонским буйством (лат.).

Когда грубое бешенство, свирепая одержимость овладевают им, он хватается любое оружие, какое только попадет под руку, будь то блистательный меч тонкой диалектики или навозные вилы, полные грязи и брани, ни на что не оглядывается и, если надо, не останавливается перед неправдой и клеветой, лишь бы испепелить противника. «Для пользы дела и церкви нечего бояться и крепкой лжи». Рыцарства этот крестьянский воин лишен начисто. У него нет ни благородства, ни сострадания даже к поверженному противнику, и лежащего на земле он продолжает топтать в слепой ярости. Он с ликованием приветствует постыдное избиение Томаса Мюнцера и десяти тысяч крестьян, возвещая горделивым голосом, что берет «их кровь на свою шею», он торжествует, наблюдая плачевную гибель этого «свиньи» Цвингли, Карлштадта* и всех, кто был против него; ни разу этот одержимый ненавистью человек не воздал должного врагу хотя бы после его смерти. На кафедре — пленительно человеческий, дома — добрый отец семейства*, как художник и поэт* — воплощение высочайшей культуры, Лютер, едва начинается распря, превращается в оборотня, обуянного гневом, которого не сдержать никакими резонами, никакими словами о справедливости.

ности. Эта дикая потребность природы заставляет его всю жизнь искать схватки, потому что борьба представляется ему не только высшим наслаждением, но и самой нравственной формой существования. «Человек, а христианин особенно, должен быть воином», — говорит он, горделиво глядясь в зеркало, а в одном из поздних писем (1541) распространяет эту убежденность на небеса, таинственно заявляя: «Бог, несомненно, борется».

Эразм, как христианин и гуманист, не знает ни воинствующего Христа, ни борющегося бога. Ненависть и мстительность представляются ему, аристократу культуры, возвратом к плебейству и варварству. Ему отвратительны всякая свалка, столпотворение, всякая дикая свара. Его миролюбивой природе спор настолько же неприятен, насколько он приятен Лютеру; характерны слова, сказанные им однажды по этому поводу: «Если бы я мог получить большие владения, но для этого должен был бы вести процесс, я скорей отказался бы от владений». Как мыслитель, Эразм, конечно, любит дискуссии с равными по учености, но ценит в них, как рыцарь в турнире, благородную игру, где утонченный, умный, гибкий может продемонстрировать перед форумом образованных гумани-

стов свое закаленное в классическом огне искусство фехтования. Высечь несколько искр, показать несколько свежих, ловких приемов, вышибить из седла неумелого седока-латиниста — такого рода духовно-рыцарская игра отнюдь не чужда Эразму, но для него непостижимо лютеровское удовольствие раздавить и растоптать врага; многократно скрепящая перья, он никогда не забывает о вежливости и не поддается «смертоубийственной» ненависти, с какой Лютер обрушивается на своих противников. Эразм не рожден борцом хотя бы потому, что в конечном счете у него нет твердых убеждений, за которые бы он боролся. У натур объективных меньше уверенности. Они легко сомневаются в своей точке зрения и готовы по меньшей мере обсудить аргументы противника. Но дать противнику слово — значит уже дать ему пространство; ослепленный яростью лучше сражается, натянувший на уши колпак упрямства, чтоб ничего не слышать, защищен собственной одержимостью, точно панцирем. Для исступленного монаха Лютера всякий несогласный — уже посланец ада, враг Христов, искоренить которого он обязан; для гуманиста Эразма даже глупейшая передержка противника заслуживает не более чем сочувственного сожаления. Отличный

образ, характеризующий различие между ними, дал Цвингли: он сравнил Лютера с Аяксом*, а Эразма — с Одиссеем. Аякс-Лютер — мужественный воин, рожденный для борьбы, и только для нее, Одиссей-Эразм, по сути, лишь случайно оказался на поле брани и счастлив вернуться на тихую свою Итаку, на благословенный остров созерцания, из мира действия в мир духа, где временные победы и поражения выглядят иллюзорными в сравнении с незыблемым, непобедимым бытием платоновских идей.

Эразм не был создан для войны и знал это. Там, где он наперекор своей натуре ввязывался в спор, он должен был терпеть поражение.

Первого тихого стука Лютера Эразм не услышал. Но вскоре он вынужден был прислушаться и запечатлеть в душе это новое имя, ибо железные удары, которыми безвестный августинский монах приколотил к дверям церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, разнеслись по всей Германской империи. «Точно сами ангелы были его гонцами» — так быстро переходят из рук в руки листки с еще не просохшей типографской краской; в один прекрас-

ный день весь немецкий народ наряду с Эразмом называет этого самого Мартина Лютера поборником свободного христианского богословия. С гениальной интуицией будущий народный избранник затрагивает сразу тот самый чувствительный пункт, в котором немцы болезненней всего ощущают гнет римской курии*: индульгенции. Ничто так не тяжело для нации, как дань, наложенная иноземной властью. Церковь перечеканивала в монету изначальный страх божьей твари, используя для этого специальных продавцов индульгенций, агентов, получавших долю прибыли; эти деньги, выжатые у немецких крестьян и бюргеров в обмен на квитанции, уходили из страны, попадали в Рим, и по всей стране давно уже накапливалось глухое, пока еще безмолвное возмущение. Решительный поступок Лютера был по существу лишь искрой; он наглядней всего подтверждает тот факт, что не осуждение порока, а форма осуждения является решающей. Эразм и другие гуманисты тоже обрушивались с остроумными насмешками на индульгенции, эти откупные от адского огня. Но насмешка и шутка могут содействовать лишь разложению существующего порядка, их роль чисто отрицательная, они не собирают новых сил для творческого удара. Лю-

тер же, натура драматическая, быть может, единственная по-настоящему драматическая в немецкой истории, интуитивно умеет показать любую вещь грубо, наглядно и всем понятно; он с самого начала обладает врожденным даром пластического жеста, программного слова. Когда он коротко и ясно заявляет в своих тезисах: «Папа не властен отпустить грехи» или «Папа не властен освобождать от наказания, кроме того, которое наложил сам», — эти озаряющие, как молнии, поражающие, как гром, слова входят в сознание всей нации и заставляют шататься собор святого Петра*. Где насмешка и критика Эразма привлекали внимание мыслителей, но не затрагивали массовых страстей, там Лютер разом проникает в самую глубину народного чувства. В течение двух лет он становится символом Германии, глашатаем всех антиримских, национальных чаяний и устремлений.

Столь чуткий и пытливый человек, как Эразм, без сомнения, очень скоро должен был узнать о поступке Лютера. По существу, ему надо было радоваться: появился еще один союзник в борьбе за свободное богословие. И поначалу не услышишь

слова неодобрения. «Всем добродетельным по нраву прямодушие Лютера», «конечно, донныне Лютер был полезен миру» — в таком благожелательном тоне отзывается он перед друзьями-гуманистами о выступлении Лютера. Впрочем, дальновидный психолог уже присовокупляет к этому первую оговорку: «Многое Лютер порицал превосходно, но, — вырывается одновременно легкий вздох, — если бы он только делал это посдержанней». Тонким чутьем он инстинктивно угадывает опасность в слишком пылком темпераменте Лютера и настоятельно призывает его не всегда быть столь грубым. «Мне кажется, что умеренностью можно добиться больше, чем горячностью. Так покорила мир Христос». Не слова, не тезисы Лютера так беспокоят Эразма, а тон его высказываний, привкус демагогии и фанатизма во всем, что Лютер пишет и делает. Такие деликатные богословские проблемы, считает Эразм, лучше обсуждать тихим голосом в ученом кругу. Теология не орет на всю улицу, позволяя сапожникам и торговцам грубо вмешиваться в столь тонкие предметы. Дискуссия перед галеркой и на ее потребу снижает, на взгляд гуманиста, уровень обсуждения и неизбежно влечет за собой опасность смуты, беспокойства, народного

возбуждения. Эразму претит всякая пропаганда и агитация в защиту истины, он считает, что она сильна сама по себе. Таким образом, не зависть, как утверждают его недруги, а искреннее чувство страха, сознание духовной ответственности заставляют Эразма с досадой смотреть, как за словесной бурей, поднятой Лютером, уже вздымается чудовищное пыльное облако народного возбуждения. «Если бы только он был сдержанней», — все сетует Эразм на этого несдержанного человека, а душу его гнетет ясное предчувствие, что его высокому царству духа, царству *bonae litterae*¹, науки и гуманности не устоять перед этой всемирной бурей.

Но они еще не обменялись ни словом, оба знаменитых мужа немецкой Реформации все еще молчат друг о друге, и это молчание постепенно начинает обращать на себя внимание. Осторожный Эразм не желает без надобности связываться с человеком, от которого можно ждать чего угодно. Лютер же, чем убежденнее втягивается он в борьбу, тем скептичнее относится к этому скептику. «Человеческое для него важней божествен-

¹ Прекрасной литературы (лат.).

ного», — пишет он об Эразме, метко определяя в этих словах то, что их разделяет: для Лютера самым важным на земле была религия, для Эразма — человечность.

Но теперь Лютер уже не один. Независимо от собственной воли и, может, сам того не сознавая, он со своими, как мыслилось ему, чисто духовными требованиями становится выразителем множества земных интересов, тараном, пробивающим дорогу немецкому национальному делу, важной фигурой в политической игре между папой, императором и германскими князьями. Далекие от евангелического учения люди, извлекающие выгоду из его успеха, начинают бороться за него, чтобы использовать его личность в собственных целях. Постепенно вокруг этого человека складывается ядро будущей религиозной системы. Еще далеко до огромной массовой армии протестантизма, а при Лютере, как того требует организаторский гений немцев, уже существует политический, богословский, юридический генеральный штаб: Меланхтон, Спалатин, князья, знатные дворяне и ученые. С интересом поглядывают на Курсаксен* иностранные послы: нельзя ли из этого твердого человека вы-

тесать клин и вбить его в могущественную империю; кружевные нити политической дипломатии вплетаются в сугубо нравственные по замыслу требования Лютера. И люди из ближайшего его окружения сами ищут союзников: Меланхтон, прекрасно понимающий, какое поднимется столпотворение, когда выйдет сочинение Лютера «К дворянству немецкой нации», настаивает на необходимости заручиться важной для евангелического дела поддержкой такого авторитетного и беспристрастного человека, как Эразм. Наконец Лютер уступает и 28 марта 1519 года впервые лично обращается к Эразму.

Гуманистической манере переписки свойственна вкрадчивая любезность, прямо-таки китайское преувеличенное самоуничижение. Неудивительно, что Лютер начинает свое письмо, как гимн: «Найдется ли человек, чьи мысли не были бы полны Эразмом? Кто не вразумлен им, кто не поклоняется ему?» Себя же он изображает неотесанным малым с невымытыми руками, не обученным, как обращаться с письмом к человеку такой поистине высокой учености. Но поскольку до него дошло, что его имя стало известно Эразму благодаря «пустячному» замечанию об индульгенциях, он решил, что

дальнейшее молчание между ними может быть истолковано превратно. «Прими же, добрейший, если тебе угодно, своего меньшего брата во Христе, достойного со своим невежеством разве что прозябать где-нибудь в темном углу, а не пребывать с тобою под тем же небом и под тем же солнцем». Ради этой фразы только и написано все послание. В ней все, чего Лютер хочет от Эразма: ответного письма с одобрением, какого-нибудь дружественного его учению (мы бы сказали: годного для публицистического использования) слова. Час для Лютера смутный и решающий, он начинает войну против сильных мира сего, в Риме уже готова была об его отлучении; моральная поддержка Эразма была бы в такой борьбе очень важна и, возможно, обеспечила бы успех Лютерова дела: сила этого имени в его неподкупности. Для борющихся лагерей человек, стоящий вне лагерей, — всегда лучшая и желаннейшая эмблема.

Но Эразм никому не намерен давать обязательств и меньше всего желает быть поручителем за еще неведомые грехи. Ведь открыто сказать сейчас «да» Лютеру — значит заранее сказать «да» всем его будущим книгам, сочинениям и выпадам; значит сказать «да» неумеренному и не желающе-

му знать меры человеку, «подстрекательский и насильственный» стиль которого в глубине души болезненно задевает стремящегося к гармонии Эразма. И потом, что такое дело Лютера? Что это значит сейчас, в 1519 году, и что будет значить завтра? Стать с кем-либо заодно, взять на себя обязательство — значит поступиться долей нравственной свободы, присоединиться к требованиям, чьи последствия еще необозримы, а Эразм никогда не допустит ограничения своей свободы.

Пожалуй, чуткий нос старого клирика чует в писаниях Лютера и легкий привкус ереси. Нет, Эразм никогда не станет слишком себя компрометировать.

И в своем ответе он старательнейшим образом уклоняется от ясного «да» или «нет». Прежде всего он умело возводит линию укреплений, объявляя во всеуслышание, что толком и не читал сочинений Лютера. Ведь, строго говоря, Эразму как католическому священнику не полагалось без ясного дозволения вышестоящих лиц читать противные церкви книги; проявляя крайнюю осторожность, натеревший в писании писем Эразм использует это извиняющее обстоятельство для подготовки к главному заявлению. Он благодарит «брата во

Христе», сообщает, какое огромное возбуждение вызвали книги Лютера в Лувене* и с какой ненавистью встретили их противники, — то есть обиняком выражает известную симпатию. Но как умело избегает он в своем стремлении к независимости всякого слова отчетливого согласия, которое могло бы связать и обязать его! Он настоятельно подчеркивает, что лишь «листал» (*degustavi*), то есть не читал, Лютеров комментарий к Псалмам и «надеется», что этот комментарий будет весьма полезен, — опять окольное пожелание вместо суждения; и чтобы только отмежеваться от Лютера, он высмеивает как глупые и злонамеренные слухи, будто сам приложил руку к Лютеровым сочинениям. Но потом, в заключение, Эразм становится наконец недвусмысленным. Коротко и ясно он заявляет, что не желает быть втянутым в этот прискорбный спор. «Я стараюсь, насколько могу, держаться нейтрально (*integrum*), дабы иметь возможность лучше содействовать расцвету наук, и верю, что разумной сдержанностью можно достичь большего, нежели резким вмешательством». Он настоятельно еще раз призывает Лютера к умеренности и заканчивает письмо благочестивым и ни к чему не обязывающим пожеланием: да осенит Христос Лютера благодатью.

Так Эразм обозначил свою позицию. Так было и в споре о Рейхлине*, когда он заявил: «Я не рейхлианец и не держу ничьей стороны, я христианин и знаю только христиан, но не рейхлианцев или эразмистов». Он полон решимости не вовлекаться в спор далее, чем сам того хочет. Эразм человек боязливый, но страх обладает и провидческой силой: порой в странном и внезапном озарении он словно воочию видит грядущее. Более прозорливый, чем все прочие гуманисты, которые приветствуют Лютера с ликованием, как спасителя, Эразм распознает в агрессивной, безапелляционной манере этого человека предзнаменование смуты, вместо Реформации он видит революцию и идти по этому опасному пути никак не желает. «Чем бы я помог Лютеру, став его спутником на опасном пути? Вместо одного человека погибли бы двое — только и всего. . . Он кое-что превосходно выразил, от чего-то верно предостерег, и я хотел бы, чтоб он не портил этих добрых дел своими невыносимыми заблуждениями. Но будь это все написано даже в самом благочестивом духе, я бы не стал ради истины рисковать головой. Не каждому даны силы быть мучеником, и, как это ни печально, боюсь, что в случае смуты я бы последовал примеру Петра*. Я следую

повелениям папы, поскольку они правильны, дурные же их законы терплю, ибо так верней. Я думаю, такое поведение пристало всякому желающему добра человеку, если он не надеется на успех в сопротивлении». Душевная нерешительность и в то же время чувство независимости заставляют Эразма не иметь общего дела ни с кем, в том числе и с Лютером. Пусть он идет своим путем, а Эразм — своим: таким образом они соглашаются всего лишь не проявлять друг к другу враждебности. Предложение о союзе отклонено, заключен пакт о нейтралитете. Лютеру предназначено осуществить драму, Эразм же надеется — тщетная надежда! — что ему будет позволено остаться при этом лишь зрителем: «Ежели подъем Лютерова дела означает, что это угодно господу, что нашему порочному времени нужен столь крутой хирург, как Лютер, то не мне противиться воле божьей».

Но в гуще политических страстей оставаться в стороне трудней, чем оказаться в чьем-либо лагере, и, к немалой досаде Эразма, новая партия пробует сослаться на него. Эразм обосновал реформистскую критику церкви, Лютер обратил ее в атаку против папства; как злобно выразились католические богословы, «Эразм снес яйцо, которое

Лютер высидел». Хочет того Эразм или нет, но он в известной мере несет ответственность за дело Лютера, которому проложил путь: «Ubi Erasmus innuit, illic Luther irruit»¹. Где один лишь осторожно приоткрывает дверь, другой стремительно врывается, и Эразм вынужден признаться Цвингли: «Всему, чего требует Лютер, я учил сам, только не столь резко и не с такими крайностями». Их разделяет лишь метод. Оба поставили один и тот же диагноз: церкви грозит смертельная опасность; сосредоточившись на внешнем, она внутренне близка к гибели. Но если Эразм предлагает медленное восстанавливающее лечение, осторожное, постепенное очищение крови с помощью соленых инъекций разума и насмешки, то Лютер сразу делает кровавый надрез. Такой опасный для жизни способ неприемлем для Эразма с его боязнью крови, он не выносит никакого насилия: «Я полон решимости лучше дать растерзать себя на куски, нежели содействовать расколу, особенно в делах веры. Правда, многие приверженцы Лютера ссылаются на евангельское изречение: «Не мир я пришел принести, но меч». Однако, хоть я и нахожу, что мно-

¹ Где Эразм кивает, там Лютер набрасывается (лат.).

гое в церкви надобно изменить для пользы религии, мне мало нравится все, что ведет к такого рода смятению». С решительностью, предвосхищающей толстовскую, Эразм отклоняет всякий призыв к насилию и заявляет, что предпочтет лучше и впредь терпеть прискорбное состояние, чем добиваться перемены ценой смуты и кровопролития. В то время как другие гуманисты, более близорукие и оптимистичные, приветствуют Лютера, видя в нем освобождение церкви и избавление Германии, он уже предчувствует раздробление *ecclesia universalis*, всемирной церкви, на церкви национальные и выпадение Германии из западного единства. Скорее сердцем, чем разумом, он понимает, что такой выход Германии и других немецкоязычных стран из-под власти папы не может обойтись без самых кровавых и страшных конфликтов. А поскольку война для него означает возврат к варварству, к давно отжившей эпохе, он употребляет всю свою власть, чтобы предотвратить эту ужасную для христианского мира катастрофу. Так Эразм внезапно поднимается до уровня исторической задачи, которая, по сути, выше его сил.

Свою посредническую миссию Эразм начинает с попытки утихомирить Лютера. Через друзей он

заклинает этого невразумляемого человека писать не столь «подстрекательски», не толковать Евангелие на столь «неевангельский» лад: «Я хотел бы, чтоб на какое-то время Лютер воздержался от всех пререканий и сохранял чистоту евангельского дела. Он добился бы большего успеха». И первым делом — не все надлежит обсуждать публично. Требование церковных реформ ни в коем случае нельзя выкрикивать в уши толпе, беспокойной и всегда склонной к сваре. «Не всегда следует говорить всю правду. Многое зависит от того, как она провозглашена».

Мысль, что ради временной выгоды хотя бы на минуту можно умолчать об истине, была наверняка не понятна Лютеру. Для него, приверженца истины, принявшего ее душой и сердцем, священный долг совести выкрикнуть вслух каждый ее слог и каждую йоту — все равно, последует ли за этим война, смута или даже рухнут небеса. Учиться искусству молчания Лютер не может и не собирается. За прошедшие четыре года речь его обрела новую мощь и силу, накопившаяся народная горечь нашла в нем своего выразителя. Немецкое национальное сознание жаждет восстать против всего чужеземного. Ненависть к священникам, к чужакам,

социальный бунт и темные религиозные страсти с каждым днем сильнее накаляются в народе со времен «Союза Башмака»*. Все это пробудил Лютер ударом молотка по дверям виттенбергской церкви. Все сословия: князья, крестьяне, бюргеры — считают, что их частное сословное дело освящено Евангелием. Немцы увидели в нем человека отваги и действия, в нем сосредоточились все разноречивые устремления. Но когда в пылу религиозного экстаза национальное сливается с социальным, всегда возникают те мощные толчки, которые потрясают вселенную; если же при этом найдется такой человек, как Лютер, в котором все увидят воплощение своих неосознанных желаний, этот человек обретает магическую власть. Тот, кому нация по первому зову готова отдать все свои силы, легко может счесть себя посланцем провидения и начинает говорить языком пророка, как в Германии давно уже никто не говорил: «Бог повелел мне учить и судить как одному из апостолов и евангелистов на земле немецкой». Он чувствует в экстазе, что бог поручил ему очистить церковь, освободить народ из рук «антихриста» папы, этого «скрытого дьявола во плоти», освободить словом, а если иначе нельзя — мечом, огнем и кровью.

Обращаться к тому, чей слух полон шумом народного восторга и словами божественного повеления, с проповедью сдержанности и осторожности — дело напрасное. Скоро Лютер почти перестает слышать Эразма, он ему больше не нужен. Неумолимым железным шагом он совершает свой исторический путь.

Но в то же самое время и с той же настойчивостью, как к Лютеру, обращается Эразм к противной стороне — к епископам, князьям и владыкам, предостерегая их от поспешной жестокости в отношении Лютера. Он видит, что здесь тоже постарался его давний враг, фанатизм, никогда не желающий признавать своих ошибок. Он предупреждает, что отлучение было бы, пожалуй, слишком резким шагом, что Лютер вообще человек исключительно честный и его образ жизни в целом достоин похвалы. Конечно, Лютер выразил сомнение относительно индульгенций, но и другие до него позволяли себе смелые высказывания на сей счет. «Не всякое заблуждение уже есть ересь», — напоминает великий посредник и оправдывает своего злейшего противника Лютера: «Многое он написал скорей опрометчиво, нежели с дурным умыслом». В таких случаях незачем тотчас кричать о костре и обвинять

в ереси каждого, кто внушает подозрения. Не гораздо разумней ли предостеречь Лютера и вразумить его, чем поносить и злить? «Лучше всего для примирения, — пишет он кардиналу Кампеджо, — было бы, если папа от каждой стороны потребовал бы публичного изложения взглядов. Это помогло бы избежать злонамеренных передержек и смягчить сумасбродство речей и писаний». Снова и снова настаивает миролюбец на примирительном церковном соборе, советуя спорящим доверительно изложить свои тезисы в кругу ученых церковников, что могло бы привести к «взаимопониманию, достойному христианского духа».

Но Рим столь же мало прислушивается к его призывам, как и к Виттенбергу*. Папа сейчас озабочен другим: в эти дни внезапно умирает его любимец Рафаэль Санти, божественный дар Ренессанса новому миру. Кто теперь достойно завершит станцы Ватикана*? Кто доведет до конца постройку столь смело вознесшегося собора святого Петра? Для папы из рода Медичи искусство, великое и вечное, в сто раз важней, чем эта мелкая монашеская свара где-то там в саксонском провинциальном городишке. И папа равнодушно не замечает ничтожного монашка. Его кардиналы, высокомер-

ные и самоуверенные (разве только что не отправлен был на костер Савонарола и не изгнаны еретики из Испании?), настоятельно требуют отлучения, считая его единственно возможным ответом на Лютерову строптивость. Зачем его еще сначала выслушивать, зачем считаться с этим крестьянским богословом? Предостерегающие письма Эразма остаются без внимания, в римской канцелярии спешно готовится булла об отлучении, легатам предписано со всей суровостью выступить против немецкого крамольника: упрямство справа, упрямство слева приводят к тому, что первая и потому самая благоприятная возможность для примирения упущена.

И все же в те решающие дни — эта закулисная сцена почти не привлекает внимания — судьба немецкой Реформации на краткий миг вновь оказывается в руках Эразма. Император Карл уже созвал собор в Вормсе, где по делу Лютера, если он в последний момент не одумается, будет вынесен окончательный приговор. Приглашен на рейхстаг и Фридрих Саксонский, князь и покровитель, но пока еще не открытый сторонник Лютера. Этот примечательный человек, благочестивый в строго церков-

ном смысле, крупный собиратель реликвий и святых мощей, то есть того, что Лютер с издевкой отрицает как вздор и дьявольскую забаву, питает к Лютеру известную симпатию: он гордится человеком, который принес такую славу его Виттенбергскому университету. Но открыто выступить на его стороне он не отваживается. Из осторожности, и в душе еще не приняв решения, он дипломатично воздерживается от личных сношений с Лютером. Он не принимает его у себя, чтобы (в точности как Эразм), если понадобится, сказать, что лично он с ним не имел ничего общего. Однако из политических соображений и в надежде использовать эту сильную фигуру в игре против императора, наконец, из некоторой княжеской амбиции он до сих пор простирает над Лютером свою покровительственную длань и, несмотря на папское отлучение, оставил ему кафедру и университет.

Но сейчас и эта осторожная защита оказывается опасной. Ибо если Лютера, как можно ожидать, объявят вне закона, то дальнейшее покровительство ему будет означать открытый бунт против императора. А на такой решительный мятеж князя, пока лишь полупротестантские, еще не способны. Они, правда, знают, что в военном отношении их импе-

ратор бессилен, обе руки его связаны войной против Франции и Италии, и, пожалуй, время сейчас самое благоприятное, чтобы усилить свою власть, а евангелическое дело — прекраснейший и славный перед лицом истории повод для выступления. И все же Фридрих, человек благочестивый и честный, в глубине души еще сомневается, действительно ли этот священник и профессор — глашатай истинного евангелического учения или просто один из бесчисленных фанатиков и сектантов. Он не решил еще, стоит ли брать ответственность перед богом и людьми, защищая и дальше этого замечательного, но небезопасного человека.

Пребывая в таком нерешительном состоянии, Фридрих проездом в Кёльне узнаёт, что в городе как раз гостит Эразм. Он тотчас поручает своему секретарю Спалатину пригласить его к себе. Ибо Эразм все еще почитается за высший моральный авторитет в делах мирских и богословских, он еще увенчан заслуженной славой человека полностью беспристрастного. Курфюрст в своей неуверенности ждет от него надежнейшего совета и прямо ставит перед Эразмом вопрос: прав Лютер или неправ? Вопросы, требующие ясного «да» или «нет», Эразм не очень-то любит, теперь же от его приговора

особенно многое зависит. Выскажи он одобрение делам и словам Лютера — Фридрих внутренне утвердится в намерении и впредь его защищать: значит, Лютер и с ним немецкая Реформация спасены. Если же князь в замешательстве бросит его на произвол судьбы, Лютеру придется бежать из страны, чтобы спастись от костра. Между этими «да» и «нет» — судьба мира, и относись Эразм, как утверждали его недруги, действительно враждебно или с завистью к своему великому противнику, ему бы представился единственный в своем роде случай навсегда с ним разделаться. В тот день, 5 ноября 1520 года, судьба немецкой Реформации, дальнейший ход мировой истории, пожалуй, целиком находились в робких руках Эразма.

В этот момент Эразм занимает честную позицию. Не смелую, не решительную, не героическую, а всего лишь (и это уже много) честную. От вопроса курфюрста, усматривает ли он во взглядах Лютера что-либо неверное и еретическое, он пробует сначала отделаться шуткой (ему не хочется вставать ни на чью сторону): дескать, главная неправота Лютера в том, что он схватил папу за тиару, а монахов за брюхо. Но затем, когда от него всерьез требуют высказать свое мнение, он поступает по

чести и совести: в двадцати двух коротких тезисах, которые называет аксиомами, излагает свое личное мнение об учении Лютера. Некоторые фразы звучат неодобрительно, например: «Лютер злоупотребляет снисходительностью папы», но в решающих тезисах он мужественно поддерживает того, кто находится под угрозой: «Из всех университетов только два осудили Лютера, но и те не опровергли его. Следовательно, Лютер по справедливости требует лишь немногого — публичной дискуссии и непредвзятых судей». И далее: «Лучше всего, в том числе и для папы, было бы передать дело уважаемым, непредвзятым судьям. Люди жаждут истинного Евангелия, и само время ведет к тому. Нельзя противиться ему с такой враждебностью». В конечном счете, он, как и прежде, советует уладить это деликатное дело с помощью взаимной уступчивости и открыто обсудить его на церковном соборе, прежде чем оно обернется смутой и на столетия лишит мир покоя.

Эти слова (не добром оплатил за них Эразму Лютер) предопределили далеко идущий поворот дел в пользу Реформации. Ибо курфюрст, отчасти, правда, озадаченный некоторой двусмысленностью и осторожностью эразмовских формулировок, по-

ступает точно так, как советует ему Эразм в том ночном разговоре. На другой день, 6 ноября, Фридрих заявляет папскому послу: Лютер должен быть публично выслушан справедливыми, свободными и непредвзятыми судьями, до тех же пор его книги не должны подвергаться сожжению. Это уже протест против жесткой позиции Рима и императора — первое проявление протестантизма немецких князей. В решающий момент Эразм оказал Реформации решающую услугу и вместо камней, которыми она потом его закидала, заслужил от нее памятник.

Наступил час Вормса. Город переполнен до коньков крыш; въезжает молодой император в сопровождении легатов, послов, курфюрстов, секретарей, окруженный всадниками и ландскнехтами в пламенно-ярких одеждах. Несколько дней спустя тем же путем следует ничтожный монах, один-единешенек, уже отлученный папой и защищенный от костра пока только сопроводительным письмом, которое лежит, сложенное, у него в кармане. Но вновь в восторге и ликовании бурлят и шумят улицы. Одного, императора, избрали вождем Германии немецкие князья, другого — немецкий народ.

Первый обмен мнениями оттягивает фатальное решение. Еще живы эразмовские настроения, еще есть слабая надежда на посредничество. Но на второй день Лютер произносит исторические слова: «На этом я стою, и не могу иначе».

Мир разодран надвое: впервые со времен Яна Гуса человек перед лицом императора и всего двора отказывается повиноваться церкви. Легкий трепет пробегает по кругу придворных, ропот изумления перед этим дерзким монахом. Но внизу Лютера приветствуют ландскнехты. Чуют ли уже эти буревестники близость войны?

А где в этот час Эразм? Он — вот его трагическая вина — в это историческое мгновение пугливо остался у себя в кабинете. Он, друг юности легата Алеандро, деливший с ним стол и кров в Венеции, человек, уважаемый императором и единомышленник евангелистов, он, и только он один, еще может предотвратить резкий разрыв. Но снова он не решается выступить открыто и, лишь получив недоброе известие, понимает, что безвозвратно упустил момент: «Будь я там, я сделал бы все возможное, чтобы отвести эту трагедию в более спокойное русло». Увы, исторического мгновения не вернуть. Отсутствующий всегда неправ. Эразм в нуж-

ный час не выступил за свои убеждения со всей силой и самоотдачей — поэтому дело его потерпело поражение. Лютер с предельным мужеством и несокрушимой волей всего себя отдал победе — и потому его воля стала делом.





Борьба за независимость



Эразм считает — и многие разделяют его чувство — что рейхстаг в Вормсе, отлучение и императорская опала означают конец попытке Лютерово́й реформы. Теперь остается разве что открытый бунт против государства и церкви, новое альбгойство, вальденство или гуситство *, которое, очевидно, будет подавлено с такой же жестокостью, а этого военного решения Эразм как раз хотел бы избежать. Его мечтой было путем реформ ввести

евангелическое учение в русло церкви, этой цели он рад был бы содействовать. «Если Лютер останется в лоне католической церкви, я охотно буду на его стороне», — заявлял он публично. Но неукротимый Лютер одним ударом и навсегда разделался с Римом. Теперь это уже позади. «Лютерова трагедия кончилась, — о, если б она и не появлялась на сцене», — сетует разочарованный миролюбец. Погасла искра евангелического учения, закатилась звезда духовного света, «actum est de stellula lucis evangelicae»¹. Теперь палачи и пушки вершат дело Христово. А Эразм намерен оставаться в стороне от любого будущего конфликта — он чувствует себя слишком слабым для великого испытания. Он смиренно признает, что для такого ужасающего и ответственного решения у него нет той убежденности или самоуверенности, которой похваляются другие: «Возможно, Цвингли и Буцер слышат голос свыше, Эразм же всего только человек». Давно познавший в свои пятьдесят лет всю непостижимость божественных тайн, он чувствует, что не ему витийствовать в этом споре; он хочет тихо и смиренно служить лишь науке, искусству — всему, где царит вечная

¹ «Явившаяся из звездочки света евангельского» (лат.).

ясность. И он бежит от богословия, от государственной политики, от церковных распрей и споров в свой кабинет, к благородному молчанию книг; здесь он еще может принести пользу миру. Вернись в свою келью, старый человек, и занавесь окна, чтоб в них не проникал свет времени! Оставь борьбу другим, тем, в чьем сердце звучит призыв господа, и посвети себя делу более тихому — защищай истину в чистой сфере искусства и науки. «Пусть развращенность римского духовенства можно излечить только крайними средствами — не мне и не таким, как я, брать на себя лечение. Лучше терпеть существующее положение вещей, чем возбудить новые страсти, которые часто обращаются к противоположной цели. По своей воле я не был и никогда не стану главой или участником мятежа».

От церковной распри Эразм ушел в свою работу. Ему отвратительна эта ругань и перебранка сторон. «*Consulo quieti meae*»¹ — только лишь тишины жаждет он, святого покоя художника. Но мир сговорился не оставлять его в покое.

В Лувене, где живет Эразм, обстановка все накаляется. В то время как вся протестантская Герма-

¹ Оберегаю покой свой (лат.).

ния порицает его за слишком слабую поддержку Лютера, здешний сугубо католический факультет объявляет его зачинщиком «Лютеровой чумы». Студенты устраивают против Эразма шумные демонстрации, опрокидывают его кафедру. Его поносят и в церквах Лувена, и папскому легату Аелеандро приходится использовать весь свой авторитет, чтобы пресечь по крайней мере публичные выпады против своего старого друга. Эразм, верный себе, предпочитает бегство. Как некогда от чумы, он теперь бежит от ненависти, бежит из города, где годами трудился. Собрав свои скудные пожитки, старый кочевник пускается в странствие. «Надо, чтобы немцы, которые сейчас все равно что одержимые, не растерзали меня, прежде чем я покину Германию». Человек беспристрастный всегда оказывается со всеми в жестоком конфликте.

Ни явно католический город, ни откровенно протестантский теперь не для Эразма, ему предназначено судьбой существовать лишь в нейтральном пространстве. Он ищет прибежища в Швейцарии, стране, которая всегда была оплотом независимости. На долгие годы он поселяется в Базеле.

Этот расположенный в центре Европы тихий город с чистыми улицами, спокойными бесстрастными жителями, не подвластный какому-либо воинственному князю, демократичный и свободный, сулит желанную тишину независимому ученому. Здесь университет, высокоученые друзья, которые его любят и чтят, здесь добрые помощники в его трудах, художники, такие, как Гольбейн, наконец, издатель Фробен, великий мастер, с которым его связывают годы радостной совместной работы. Усердные почитатели приготовили для него удобный дом; впервые вечно гонимый чувствует себя как бы на родине в этом вольном и уютном городе. Здесь он может жить в мире духа, своем истинном мире. Он может спокойно работать и знать, что его книги наилучшим образом напечатают — чего ему еще желать? Базель — самый спокойный период в его жизни. Тут вечный странник живет дольше, чем где бы то ни было, — целых восемь лет, и эти годы связали его имя с именем города: Эразм уже немислим без Базеля, а Базель без Эразма. Здесь до наших дней сбережен его дом, здесь хранятся некоторые портреты Гольбейна, запечатлевшие его облик для вечности. Здесь Эразмом написаны многие из его прекраснейших книг, прежде всего

«Разговоры запросто» *, эти блистательные латинские диалоги, задуманные первоначально как учебные тексты для маленького Фробена и наставлявшие целые поколения искусству латинской прозы. Здесь он завершает большое издание трудов отцов церкви, отсюда посылает письмо за письмом; здесь, в своей рабочей цитадели, он выпускает сочинение за сочинением, и духовный взор всей Европы устремлен к этому старому королевскому городу на Рейне.

Благодаря Эразму Базель в эти годы становится духовной европейской столицей. Вокруг великого ученого собирается целая группа учеников-гуманистов, таких, как Эколампадий *, Ренан и Амербах. Все известные люди, князья и ученые, поклонники искусства не упустят случая нанести ему визит в типографии Фробена или посетить дом «на юру».

Гуманисты из Франции, Германии и Италии совершают паломничества, чтобы увидеть за работой высокочтимого учителя. В то время как в Виттенберге, Цюрихе, во всех университетах полыхают богословские споры, вновь кажется, что тут, в тиши, искусствам и наукам еще дано последнее пристанище.

Но не обманывай себя, старый человек, пора твоя миновала, и пашня твоя разорена. В мире идет борьба не на жизнь, а на смерть, все вовлечены в водоворот противоборства, и бесполезно уже закрывать окна, ища прибежища в книгах. Теперь, когда Лютер разорвал христианскую Европу от края до края, уже не сунешь голову в песок, попытаешь укрыться, отделаться детской отговоркой, что не читал его трудов. И справа и слева гремит яростный клич: «Кто не с нами, тот против нас». Когда мироздание раскалывается надвое, трещина проходит через каждого. Тщетен твой побег, Эразм, тебя головешками выкурят из твоей цитадели.

И начинается потрясающий спектакль. Мир во что бы то ни стало стремится втянуть в борьбу уставшего от борьбы человека. «Какое несчастье, — жалуется пятидесятипятилетний Эразм, — что эта мировая буря застигла меня как раз в момент, когда я мог надеяться на отдых, заслуженный столькими трудами. Почему мне не позволяют быть просто зрителем этой трагедии, в которой я так мало способен участвовать как актер, тогда как столько других жадно рвутся на сцену?»

Слава стала проклятием. Эразм слишком на виду, его слово слишком весомо, чтоб какая-либо из сторон отказалась воспользоваться его авторитетом; вожди обеих партий, не стесняясь средствами, тянут его к себе. Они манят его деньгами, лестью, высмеивают его за недостаток мужества, чтобы хоть заставить высказаться, они пугают его ложным известием, будто в Риме книги его уже запрещены и сожжены, они подделывают его письма, передергивают слова. Император и короли, три папы, а на другой стороне Лютер, Меланхтон, Цвингли — все добиваются от Эразма слова согласия. Пожелай он примкнуть к тем или к другим, он мог бы достигнуть всего земного. Он знает, что «мог бы стоять в первых рядах Реформации, если бы объявил себя ее сторонником», а с другой стороны — «мог бы получить епископство, если бы написал что-нибудь против Лютера». Однако Эразм не может безоговорочно защищать папскую церковь, поскольку первым в этом споре осудил ее пороки и потребовал ее обновления; но и к протестантам примкнуть не может, ибо они далеки от идеи миролюбивого Христа.

Слава Эразма слишком велика, и слишком упорно ждут от него выбора. Насколько сильна среди

образованных людей вера в этого благородного и неподкупного человека, свидетельствуют потрясающие слова, вырвавшиеся из самой глубины души великого немца Альбрехта Дюрера. Он познакомился с Эразмом во время поездки по Голландии: когда через несколько месяцев распространился слух, что Лютер, вождь немецкого религиозного движения, умер, Дюрер увидел в Эразме единственного, кто мог бы продолжить святое дело, и с потрясенной душой взывает к нему: «О, Эразм Роттердамский, где ты? Слушай, рыцарь Христов, скачи впереди рядом с господом нашим, защити истину, добудь мученический венец! Ты, правда, старый человек и сам мне говорил, что тебе дано всего два года для деятельности. Посвяти же их Евангелию и делу истинной христианской веры, пусть тебя услышат, тогда и римский престол, врата ада, как говорит Христос, будет против тебя бессилен. . . О, Эразм, сделай так, чтоб я восславил тебя перед господом, как Давида*, ведь ты можешь повергнуть Голиафа».

Так думает Дюрер и с ним вся немецкая нация. Но не меньше надежд возлагает на Эразма в трудный для себя час и католическая церковь. Намест-

ник Христа на земле, папа обращается к нему с таким же, почти дословно, призывом: «Выступи, выступи в поддержку дела божьего! Употреби во славу Божию свой дивный дар! Подумай, что от тебя зависит с божьей помощью вернуть на путь истинный большую часть тех, кого соблазнил Лютер, укрепить тех, кто еще не отпал, и предостеречь близких к падению».

Владыка христианского мира и его епископы, мирские владыки Генрих VIII Английский, Карл V, Франциск I, Фердинанд Австрийский, герцог Бургундский и вожди Реформации — все толпятся перед Эразмом, как некогда у Гомера герои перед шатром разгневанного Ахилла, настаивая и упрашивая, чтоб он перестал бездействовать и включился в борьбу.

Великолепная сцена!

Редко в истории сильные мира сего так домогались одного-единственного слова мыслителя. И тут натура Эразма обнаруживает свой тайный изъян. Он не говорит никому из претендующих на его поддержку ясного и героического: «Я не хочу». На открытое недвусмысленное «нет» у него не хватает духу. Он не хочет примыкать ни к одной из враждующих партий — и это делает честь его внутренней

независимости. Но, увы, он в то же время ни с кем не желает портить отношений. Он не решается на открытое сопротивление всем этим могущественным людям, своим покровителям, почитателям и защитникам, он водит их за нос невразумительными отговорками, лавирует, юлит, вольтижирует, балансирует — здесь надо бы подобрать слова, означающие высшую степень искусства, чтобы охарактеризовать мастерство, с каким он все это делает: он обещает и оттягивает, пишет обязательные слова, ничем себя не связывая, он льстит и лицемерит, оправдывает свою пассивность то болезнью, то усталостью, то некомпетентностью. Папе он отвечает с преувеличенной скромностью: как он, столь ничтожный, чья образованность столь ограничена, должен взять на себя борьбу с чудовищем, искоренять ересь? Английского короля он обнадеживает месяц за месяцем, год за годом. И в то же время успокаивает вкрадчивыми письмами противную сторону, Меланхтона и Цвингли,— он находит и изобретает сотню уловок, каждый раз новых. Но за всей этой непривлекательной игрой кроется решительная воля: «Кого не устраивает Эразм, кому он кажется плохим христианином — пусть думает обо мне что хочет. Я не могу быть иным, чем

есть. Если кого Христос одарил сильным духом, пусть употребит свой дар во славу Христову. Мой удел — следовать путем тихим и верным. Я не могу пересилить ненависть к раздорам и не любить мир и согласие, ибо я понял, как темны все дела человеческие. Я знаю, насколько легче разжечь смуту, нежели ее унять. И поскольку я не во всем полагаюсь на свой собственный разум, лучше воздержусь от самоуверенных суждений о здравомыслии других. Я бы желал, чтоб все сообща боролись за торжество христианского дела и мирного Евангелия, без насилия, но в духе истины и разума, чтоб мы достигли согласия, помня как о достоинстве священнослужителей, так и о свободе народа. . .»

Решимость Эразма непреклонна: год за годом он заставляет ждать императора, королей, папу, Лютера, Меланхтона и Дюрера — весь огромный сражающийся мир, уста его любезно улыбаются, но они упорно замкнуты для последнего, решающего слова.

Но тут появляется некто, не желающий ждать, горячий и нетерпеливый воитель духа, во что бы то ни стало решивший разрубить этот гордиев узел:

Ульрих фон Гуттен. Этот «рыцарь, готовый сражаться со смертью и дьяволом», этот архангел Михаил * немецкой Реформации, как на отца, с верой и любовью, смотрел на Эразма. Заветнейшей мечтой этого юноши, страстно преданного гуманизму, было «стать Алкивиадом * этого Сократа»; он с доверием вручил ему свою жизнь: «Если боги милостивы ко мне и ты поддержишь нас во славу Германии, я откажусь от всего, лишь бы остаться с тобой». Эразм, со своей стороны, всегда чуткий к словам признания, от души поощрял этого «несравненного любимца муз». Он любил этого пылкого молодого человека, бросившего в небеса, точно жаворонок, клич безмерного ликования: «O saeculum, o litterae! Juvat vivere!»¹ Эразм хотел воспитать из этого юного студента нового мастера мировой науки. Но молодого Гуттена скоро потянуло к политике, комнатный воздух, книжный мир гуманизма стал для него слишком тягостным и душным.

Юный рыцарь и сын рыцаря вновь надевает боевую перчатку, он хочет поднять теперь не только перо, но и меч против папы и церковников. Увен-

¹ О век, о науки! Какая радость жить! (лат.)

чанный лаврами как латинский поэт, он отказывается от этого выученного языка, чтобы по-немецки призвать век к борьбе за немецкое Евангелие:

Писал я прежде по-латыни —
Не всем ясна латынь моя.
Теперь же по-немецки я
Немецкой нации кричу! ¹

Но Германия изгоняет удальца, в Риме его хотят сжечь как еретика. Лишенный дома и крова, обнищавший, до времени постаревший, изглоданный до костей зловещей болезнью, покрытый язвами, полурастерзанный, раненный в брюхо зверь, он (а ему еще нет тридцати пяти) из последних сил добирается до Базеля. Ведь там живет его великий друг, «светоч Германии», его учитель, его наставник и покровитель. Эразм, чью славу он возвещал повсюду, чья дружба его сопровождала, чьи советы его поддерживали, человек, которому он обязан немалой частью своей прежней, уже надломленной художнической силы. К нему бежит перед самым закатом этот гонимый демонами — так человек, по-

¹ Перевод Е. И. Маркович.

терпевший крушение, уже увлекаемый темной волной, хватается за последнюю доску.

Однако Эразм — ни разу его прискорбная душевная робость не проявлялась обнаженнее, чем в этом потрясающем испытании, — не пускает в свой дом отверженного. Этот вечный задира и спорщик давно уже досаждал ему и доставлял неприятности, еще со времен Лувена, когда призвал объявить открытую войну церковникам. Тогда Эразм резко отказался: «Моя задача содействовать делу просвещения». Он не желает иметь дела с этим фанатиком, принесшим поэзию в жертву политике, с этим «Пиладом * Лютера», во всяком случае не желает иметь дела открыто, особенно в этом городе, где сотня соглядатаев подсматривает в его окна. Он испытывает страх перед этим горестным изгнанником, затравленным до полусмерти человеком. Страх тройкий: во-первых, этот чумной — а Эразм ничего так не боится, как заразы, — попросится жить в его доме; во-вторых, нищий надолго станет для него обузой; и, в-третьих, этот человек, поносивший папу и подстрекавший народ к войне против церковников, скомпрометирует его собственную, столь явно демонстрируемую нейтральность. И он отказывается принять Гуттена,

причем, верный своей манере, не говорит открыто и решительно: «Я не хочу», а измышляет мелкие, ничтожные предлоги: дескать, Гуттену нужно тепло, а из-за своей каменной болезни и колик он не может как следует топить комнату, он не выносит печного угара — откровенная, но скорей жалкая отговорка.

И на глазах у всех разыгрывается постыдный спектакль. По Базелю, тогда еще маленькому городку, где всего, наверно, сотня улиц да две или три площади, где каждый знает друг друга, неделями бродит, хромая, больной Ульрих фон Гуттен, великий поэт, трагический ландскнехт Лютера и немецкой Реформации, шатается по переулкам, по трактирам и бродит возле дома, где живет его бывший друг, первый вдохновитель того же евангелического дела. Он останавливается посреди Рыночной площади и гневно взирает на запертую на засов дверь, на трусливо закрытые окна человека, который некогда восторженно возвестил о нем миру как о «новом Лукиане»*, как о великом сатирическом поэте. За безжалостно закрытыми ставнями вновь прячется, как улитка в раковине, Эразм, старый худой человечек, и ждет не дождется, пока этот нарушитель спокойствия, этот докучливый

бродяга покинет наконец город. Тайком еще спуют туда-сюда послания, ибо Гуттен все ждет, не откроется ли дверь, не протянется ли навстречу дружеская рука, рука помощи. Однако Эразм молчит и с нечистой совестью продолжает скрываться в своем доме.

Наконец Гуттен уезжает, унося отраву не только в крови, но и в душе. Он направляется в Цюрих к Цвингли, который без страха его принимает. Ему предстоит теперь тягостный путь от одной больницы койки к другой, через несколько месяцев он упокоится в одинокой могиле на острове Уфенау. Но прежде чем рухнуть, этот черный рыцарь последний раз поднимет свой сломленный меч, чтобы хоть обломком насмерть поразить Эразма, сверхосторожного и нейтрального, — он, ясный в своих пристрастиях, жаждет этого. С гневным сочинением «*Expostulatio cum Erasmo*»¹ обрушивается он на прежнего своего друга и наставника.

Он обвиняет его перед всем миром в ненасытной жажде славы, которая заставляет его завидовать растущей власти другого (намек на Лютера), обвиняет в низком коварстве, поносит его образ

¹ «Требование к Эразму» (лат.).

мыслей и с горечью возвещает всей немецкой земле, что Эразм изменил национальному, Лютерову делу, к которому внутренне причастен, позорно предал его. Со смертного ложа он обращается к Эразму с пламенным призывом: если ему не хватает мужества защищать евангелическое дело, пусть по крайней мере открыто выступит против него, ибо в рядах евангелистов уже давно его не боятся: «Опявшись мечом, созрело дело, достойное твоего преклонного возраста. Собери все свои силы и обрати их на труд сей, ты найдешь своих противников вооруженными. Партия лютеран, которую ты желал бы стереть с лица земли, ждет борьбы и не откажет тебе в ней». Глубоко поняв тайный разлад в душе Эразма, Гуттен предсказывает своему противнику, что он не возвысится до борьбы, ибо, по совести, он все же во многом признает правоту Лютера. «Часть твоего существа обратится не столько против нас, сколько против твоих же сочинений, тебе придется направить свое знание против себя самого, и тебя красноречиво осудит собственное былое красноречие. Твои сочинения будут бороться одно против другого».

Эразм сразу почувствовал силу удара. До сих пор на него тьякала лишь мелочь. То и дело какие-

нибудь раздраженные борзописцы пеняли ему на мелкие ошибки в переводе, на небрежности и неточные цитаты, но при его чувствительности даже эти неопасные осиные укусы были неприятны. Теперь его впервые атаковал настоящий противник, атаковал и бросал вызов перед лицом всей Германии. В порыве первого испуга он пытается не допустить печатания гуттеновского сочинения, которое пока ходит лишь в виде рукописи, но не добившись этого, берется за перо и отвечает своей «*Spongia adversus aspergines Hutteni*»¹, чтоб этой губкой стереть поклепы Гуттена. Он отвечает ударом на удар, тоже не боясь в этой жестокой борьбе бить ниже пояса. В четырехстах двадцати четырех особых параграфах он отвечает на каждый упрек, чтоб в заключение — Эразм всегда велик, когда дело идет о главном, о его независимости, — мощно и ясно обозначить свою позицию: «Во множестве книг и писем, на множестве диспутов я неизменно твердил, что не хочу вмешиваться в дела ни одной из сторон. Ежели Гуттен гневается на меня за то, что я не поддерживаю Лютера так, как он того желает, то я уже три года назад открыто заявил, что был и

¹ Буквально: «Губка против брызг Гуттена» (лат.).

хочу остаться полностью непричастным к этой партии; я не только сам держусь вне ее, но призываю к тому же всех моих друзей. В этом смысле я буду непоколебим. Примкнуть к ним значило бы, как я понимаю, присягнуть всему, что Лютер писал, пишет или когда-либо напишет; на такое безоглядное самопожертвование способны, может быть, самые прекрасные люди, я же открыто заявил своим друзьям: если они могут любить меня только как безоговорочного лютеранина, пусть думают обо мне что хотят. Я люблю свободу, я не хочу и никогда не смогу служить какому-либо лагерю».

Но Гуттена этот резкий ответный удар уже не достиг. Когда гневное сочинение Эразма вышло из-под типографского преса, этот вечный боец уже покоился в вечном мире, и Цюрихское озеро с тихим рокотом омывало его одинокую могилу. Смерть одолела его прежде, чем до него дошел смертельный удар Эразма. Но, умирая, Гуттен, этот великий Победенный, сумел одержать последнюю победу: он добился того, чего не смогли сделать император и короли, папа и клир со всей их властью,— своей язвительной насмешкой он выкурил Эразма

из его лисьей норы. Ибо, получив публичный вызов, обвиненный перед всем миром в робости и нерешительности, Эразм теперь должен показать, что не боится спора и с самым могучим противником, с Лютером; он должен выбрать цвет, должен взять чью-то сторону. С тяжелым сердцем берется Эразм за этот труд — старый человек, ничего не желающий, кроме покоя, понимающий, что Лютерово дело обрело слишком большое могущество, чтоб можно было разделаться с ним одним росчерком пера. Он знает, что никого не убедит, ничего не изменит и не улучшит. Без охоты и радости вступает он в навязанную ему борьбу. И, передав наконец в 1524 году типографу сочинение против Лютера, вздыхает с облегчением: «*Alia jacta est*» — «Жребий брошен!»





Великий спор



Литературные сплетни не являются достоянием какого-то одного времени, они существовали всегда; так что и в шестнадцатом столетии, когда культурный слой был тонок, когда его представители были разбросаны по разным странам и как будто не связаны друг с другом, ничто не оставалось тайной в этой всегда любознательной, тесно переплетенной среде. Эразм еще не взялся за перо, еще вообще неизвестно наверняка, вступит

ли он в борьбу и если вступит, то когда, а в Виттенберге уже знают, что задумано в Базеле. Лютер давно ждал атаки. «Истина сильнее красноречия, — пишет он другу еще в 1522 году, — вера больше учености.

Я не стану вызывать Эразма, но ежели он на меня нападет, намерен тотчас ответить. Полагаю, что ему нет резона обращать против меня силу своего красноречия. . . если же он на это решится, он узнает, что Христос не страшится ни адских врат, ни сил воздуха. Я готов выступить против знаменитого Эразма, невзирая на его авторитет, имя и положение».

В этом письме, которое, конечно, составлялось с расчетом на то, что о нем станет известно Эразму, слышится угроза или скорей предостережение. Чувствуется, что Лютер в своем трудном положении предпочел бы избежать диспута, и теперь друзья обоих берут на себя роль посредников. И Меланхтон, и Цвингли ради пользы евангелического дела снова пытаются заключить мир между Базелем и Виттенбергом; кажется, их усилия уже близки к цели.

Однако неожиданно Лютер сам решает обратиться с письмом к Эразму.

Но как изменился тон с той недавней поры, когда Лютер с вежливым и сверхвежливым смирением, с поклоном ученика подступал к «великому человеку»! Сознание своего исторического места и своей миссии наполняет теперь его слова металлическим пафосом. Что такое еще один враг для Лютера, уже вступившего в борьбу с папой и императором, со всеми земными властями? С него хватит тайной игры. Он не хочет больше неопределенности и прохладного союза. «Слово неопределенное, сомневающееся, речь колеблющуюся надобно выметать железной метлой, сворачивать в бараний рог, выводить под корень без всякого снисхождения». Лютер желает ясности. В последний раз он протягивает Эразму руку, но на этой руке теперь железная рукавица.

Первые слова звучат еще вежливо и сдержанно: «Я довольно долго пребывал в молчании, мой дорогой господин Эразм, ожидая, конечно, чтоб Вы, как старший, первым положили этому молчанию конец, но после долгого ожидания любовь побуждает меня взяться за перо. Я ничего не имел против, когда Вы решили держаться вчуже от нашего дела, дабы угодить папистам». Но затем во всю мощь прорывается его почти презрительное него-

дование против этого нерешительного человека: «Ибо видя, что Вам не дано от господа стойкости, мужества и понимания, чтобы выступить против чудовища на нашей стороне, мы не хотим требовать от Вас непосильного. . . Я предпочел бы, однако, чтоб Вы не вмешивались в наши дела, ибо хотя с Вашим положением и Вашим красноречием Вы могли бы многого достичь, но поскольку сердце Ваше не с нами, лучше, чтоб Вы служили богу лишь дарованным Вам талантом».

Он сожалеет о слабости и сдержанности Эразма, но под конец бросает решающее слово, заявляя, что важность дела давно переросла пределы доступного Эразму и потому не представляет уже никакой опасности, если он, Эразм, выступит против даже во всю свою силу, а тем более если он будет задевать и поносить его от случая к случаю!

Властно, почти повелительно требует Лютер от Эразма «воздержаться от всяких едких, риторических речей и намеков», а главное, ежели он ничего иного не может, чтоб «оставался только зрителем нашей трагедии» и не присоединялся к противникам лютеранства. Пусть ничего не пишет против него, тогда и он, Лютер, не станет

нападать. «Довольно было укусов, надо постараться, чтоб мы друг друга не изводили и не выматывали».

Такого надменного письма Эразм, господин гуманистического мира, еще никогда не получал, и при всем своем внутреннем миролюбии этот старый человек не намерен допустить, чтобы тот, кто некогда смиренно просил у него защиты и поддержки, так свысока отчитывал его, выставляя равнодушным болтуном.

«Я лучше пекся о Евангелии, — гордо отвечает он, — чем многие, кто теперь им потрясают. Я вижу, что это обновление породило немало развращенных и мятежных людей, я вижу, что прекрасные науки приходят в упадок, что дружеские отношения разрываются, и я боюсь, что начнется кровавый разгул. Ничто, однако же, не заставит меня поступиться Евангелием ради человеческих страстей». Он подчеркнуто напоминает, сколько благодарностей и рукоплесканий снискал бы у сильных мира сего, пожелай выступить против Лютера. Но может быть, для истинного евангельского дела действительно было бы полезнее сказать слово против Лютера. Непреклонность Лютера укрепляет колеблющуюся волю Эразма. «Только

бы это в самом деле не кончилось трагически», — вздыхает он в мрачном предчувствии. И берется за перо, единственное свое оружие.

Эразм вполне отдает себе отчет, против какого могучего противника выступает, в глубине души он даже, наверно, сознает борцовское превосходство Лютера, свирепая сила которого до сих пор всех повергала наземь. Но сила самого Эразма состоит в том, что он (редчайший для художника случай) знает свой предел. Он знает, что этот духовный поединок разыгрывается на глазах всего образованного мира, все богословы и гуманисты Европы в страстном нетерпении ждут зрелища. Важно выбрать надежную позицию, и Эразм находит ее мастерски: он не набрасывается опрометчиво на Лютера и все евангелическое учение, но поистине соколиным взглядом высматривает для своей атаки слабую или, во всяком случае, уязвимую точку. Он сосредоточивается на как будто второстепенном, а, по сути, коренном пункте в еще довольно шатком и ненадежном здании Лютерова теологического учения. Даже сам Лютер вынужден «весьма похвалить и оценить его»: «Ты один из многих

ухватил зерно вопроса; ты один-единственный узел нерв всего дела и крепко взял в этой борьбе за горло».

Эразм с присущим ему исключительным искусством избрал для поединка не твердую почву убеждений, а диалектически скользкое поле богословского вопроса, где этому человеку с железным кулаком не так просто было свалить его наземь и где его могли незримо прикрыть и защитить величайшие философы всех времен.

Проблема, которую Эразм ставил в центре спора, — извечная проблема всякой теологии: вопрос о свободе воли. Согласно августински-строгому учению* Лютера о предопределении, человек вечно остается божьим пленником. Ему не дано ни на йоту свободной воли, все, что он делает, заранее предопределено, никакие добрые дела, никакая bona opera¹, никакое покаяние не поможет, следовательно, его воле возвыситься и освободиться из пут первородного греха. Лишь по милости божьей дано человеку стать на верный путь. Переводя на язык современных понятий; судьба наша целиком зависит от наследственности или стече-

¹ Хорошая работа (лат.).

ния обстоятельств, наша собственная воля не может ничего, бог решает за нас. Говоря словами Гете:

... Не в нашей воле
Самим определять свое воление;
Суровый долг дарован смертной доле¹.

С такими взглядами Лютера Эразм, гуманист, для которого разум — святая, богом данная сила, не мог согласиться. Ему, твердо верящему, что честная и воспитанная воля может нравственно возвысить не только отдельного человека, но и все человечество, этот застывший, почти мусульманский фатализм был глубоко враждебен. Но Эразм не был бы Эразмом, если бы он сказал резкое и грубое «нет»; как и во всем, он здесь отвергает лишь крайность, лишь резкость и безоговорочность взглядов Лютера. В своей осторожной колеблющейся манере он замечает, что сам не любит «жестких утверждений», он лично всегда склонен к сомнению, но в таких случаях готов подчиниться писанию и церкви. Однако же и в священном писании об этом говорится в таинственных и не до

¹ Перевод С. С. Аверинцева.

конца постижимых выражениях, потому он не рискует столь решительно, как это делает Лютер, отрицать свободу воли. Он вовсе не объявляет точку зрения Лютера целиком ложной, но выступает против утверждения, что все добрые дела, которые творит человек, ничего не значат перед лицом божьим и потому вовсе напрасны. Если, подобно Лютеру, все оставлять на милость божию, какой тогда вообще для человека смысл делать добро? Значит, надобно, предлагает этот вечный посредник, оставить человеку хоть иллюзию свободной воли, чтобы он не отчаивался и чтобы бог не казался ему жестоким и несправедливым. «Я присоединяюсь к мнению тех, кто отдает дань свободной воле, но большую часть предоставляет милости божьей, ибо не след избегать Сциллы гордыни, чтобы напороться на Харибду фатализма».

Можно заметить, что даже в споре миролюбивый Эразм во многом идет навстречу своему противнику. Он и тут напоминает, что не стоит переоценивать важности подобных дискуссий и что надо задать себе вопрос, «правильно ли ради нескольких парадоксальных утверждений весь мир приводить в смятение». В самом деле, уступи ему Лютер хоть чуть-чуть, чтоб только сделать шаг

навстречу, и эта духовная стычка закончилась бы миром и согласием. Увы, Эразм ждет уступчивого понимания от самой упрямой головы столетия, от человека, который в делах веры даже на костре не откажется ни от буквы, ни от йоты, этот ярый и яростный фанатик лучше погибнет или даст погибнуть всему миру, чем отступится хоть на вершок от самого мелкого параграфа своего учения.

Лютер отвечает Эразму не сразу, хотя атака всерьез задевает гневливца. «Если другими книгами я, выражаясь прилично, подтирал... то это сочинение Эразма я прочел, да, сказать по правде, хотел забросить его за скамью», — говорит он в своей обычной грубой манере. Но в том 1524 году его одолевают заботы более важные и трудные, чем богословская дискуссия. Пожелав заменить старый порядок новым, он выпустил на волю неуправляемые силы, и возникла опасность, что его радикализм теперь окажется недостаточным для других, более радикальных. Лютер требовал свободы слова и вероучения, теперь этого требуют и другие: пророки из Цвиккау, Карлштадт, Мюнцер, все эти «швармгайстеры»¹, как он их называет, — они то-

¹ Фанатики, сумасброды (нем.).

же во имя Евангелия собираются бунтовать против императора и империи; слова самого Лютера против дворян и князей стали кистенем и пикой для крестьянских толп. Но там, где Лютер имел в виду лишь духовную, религиозную революцию, угнетенное крестьянство требует революции социальной, явно коммунистической.

С Лютером повторилась духовная трагедия Эразма: его слова породили события, которых он сам не хотел, и как Эразма он порицал за вялость, так поносят его теперь сторонники «Союза Башмака», те, что громят монастыри и жгут иконы, называя его «новым папским софистом», «архизычником и архимошенником», «приспешником антихриста» и «надменным куском мяса из Виттенберга». Он, до сих пор бывший непререкаемым авторитетом, вынужден вести борьбу на два фронта — против слишком вялых и против слишком неистовых, он должен нести ответственность за самое страшное и кровавое восстание, какого давно не переживала Германия. Ибо в сердцах взявшихся за оружие крестьян — его имя; лишь его бунт и успех в борьбе против империи придали смелости этим простолюдинам взбунтоваться против своих господ и деспотов. «Мы пожинаем ныне

плоды твоих мыслей, — с полным правом может ему теперь бросить Эразм. — Ты не признаешь мятежников, но они признают тебя... Ты не можешь оспорить общего убеждения, что толчок этому бедствию дали твои книги, особенно те, что написаны по-немецки».

Непростое решение для Лютера: должен ли он, корнями связанный с народом и в нем живущий, увлекший его против князей, теперь отречься от него, борющегося, как он учил, во имя Евангелия и свободы, или порвать с князьями? Впервые (ибо положение его внезапно стало очень напоминать Эразмово) он пробует действовать в духе Эразма. Он призывает князей к терпимости, призывает крестьян «не прикрывать Христовым именем срам своих немирных, нетерпеливых и нехристианских дел». Но вот что особенно непереносимо с его самоуверенностью: грубый народ внимает уже не ему, а тем, кто обещает больше, Томасу Мюнцеру и коммунистическим богословам *. Ему надо наконец принять решение, так как он сознает, что эта внутригерманская социальная война — помеха в его собственной религиозной войне против папства. «Если мы этих крамольников и всех этих мужиков не заманим в сети, с папством все обернется иначе».

А там, где речь идет о его деле и его миссии, Лютер не знает колебаний. Сам революционер, он вынужден стать на сторону противников немецкой крестьянской революции, а если уж Лютер становится на чью-то сторону, он умеет действовать только крайними мерами, бешено, неистово. Среди его сочинений нет более жуткого и кровавого, чем то, которое написано в момент величайшей опасности, — памфлет против немецких крестьян. «Кто погибнет за князей, — вещает он, — станет святым мучеником, кто не за них падет, отправится к дьяволу, а потому надо бить, душить, колоть — кто где может, тайно и явно, памятуя, что нет ничего более ядовитого, зловредного и дьявольского, чем бунтовщик». Он беспощадно стал на сторону верхов против народа. «Ослу надобно, чтоб его били, черни — чтоб ею правили силой». Ни слова добра, пощады и милосердия не находит этот одержимый боец, когда победившее рыцарство с чудовищной жестокостью творит расправу над побежденными. У этого гениального, но в ярости не знающего меры человека нет ни слова сострадания к бесчисленным жертвам, а ведь тысячи пошли в поход на рыцарские замки, доверившись его имени и его мятежному делу. И с жутковатым мужеством

заявляет он в конце, когда поля Вюртемберга уже обильно удобрены кровью: «Я, Мартин Лютер, разбил взбунтовавшихся крестьян, ибо я велел убивать их: вся их кровь на моей шее».

Этим бешенством, этой страшной яростной силой еще полно его перо, когда он направляет его против Эразма. Возможно, он бы еще простил Эразму теологический экскурс, но восторженный прием, который встретил во всем гуманистическом мире этот призыв к сдержанности, распаляет его злость до неистовства. Лютеру невыносима мысль, что его враги сейчас поют победную песнь: «Скажите мне, где великий Маккавей *, где тот, кто был столь тверд в своем учении?» Теперь, когда его больше не гнетет забота (с крестьянами разделались), он хочет не просто ответить Эразму, но раздавить его. Грозно возвещает он о своем намерении собравшимся за столом друзьям: «Я требую от вас, чтоб вы, по воле божьей, стали врагами Эразма и стереглись его книг. Я хочу написать против него — и будь что будет. Я хочу убить пером сатану. — И добавляет почти с гордостью: — Как я убил Мюнцера, кровь которого на моей шее».

Но и в гневе своем, именно тогда, когда кровь горячей кипит в его жилах, Лютер проявляет себя

великим художником, гением немецкого языка. Он сознает, какой перед ним великий противник, и это чувство сообщает величие его труду — не маленькому драчливому сочинению, а книге, основательной, объемистой, блистающей образами и бурлящей страстью, книге, которая свидетельствует не только о его богословской учености, но и о его поэтической, его человеческой мощи. «De servo arbitrio» — трактат «О рабстве воли» принадлежит к числу самых сильных полемических сочинений этого воинственного человека, а спор с Эразмом — к самым значительным дискуссиям, которые когда-либо вели в истории немецкой мысли два человека, противоположных по характеру, но могучих по масштабу.

Как ни далек может показаться нам сегодня сам предмет спора, величие противников делает эту борьбу непреходящим духовным событием мировой литературы.

Прежде чем ринуться в бой, прежде чем укрепить шлем и взять наперевес копьё для убийственного удара, Лютер на миг, но только на миг, приподнимает меч для беглого вежливого приветствия. «Тебе я отдаю честь и должное, как никому дру-

гому». Он признает, что Эразм обошелся с ним «мягко и во всех отношениях сдержанно». Он добавляет, что Эразм, единственный из его противников, «уловил нерв всего дела». Но, принудив себя к такому приветствию, Лютер решительно сжимает кулак, становится грубым и, таким образом, оказывается в своей стихии. Он вообще отвечает Эразму лишь потому, «что апостол Павел велел затыкать пасть ненужной болтовне». И, обрушивая удар за ударом, с великолепной — чисто лютеровской — силой начинает гвоздить Эразма: «Он хочет ходить по яйцам и ни одного не раздавить, ступать между стаканов и ни одного не задеть». Эразм, издевается он, «ни о чем не хочет судить твердо и все же выносит нам приговор; это все равно что бежать от дождика, чтоб окунуться в пруд». Несколькими словами он обнажает противоположность между изворотливой осмотрительностью Эразма и своей прямоотой и категоричностью. Для Эразма «удобство, мир и покой превыше веры», тогда как сам он не отступился бы от своей веры, «пусть даже весь мир ввергнется в распря или вовсе потонет и превратится в развалины». И если Эразм в своем сочинении умно призывает к осторожности и указывает на неясность иных мест

в Библии, которые ни один смертный не может толковать со всей уверенностью и ответственностью, Лютер кричит в ответ свое исповедание веры: «Без убежденности нет христианина. Христианин непоколебим в своей вере и в своих делах, иначе он не христианин». Кто нерешителен и тепл, кто сомневается в делах веры, должен раз навсегда уйти из богословия. «Святой дух не сомневается», — гремит Лютер. Человек хорош только тогда, когда носит в себе бога, и плох, когда на нем скачет черт, воля же человеческая ничтожна и бессильна перед провидением божьим. Однако постепенно эта частная проблема перерастает в значительное противопоставление; водораздел между двумя столь несхожими по темпераменту обновителями религии — противоположное понимание завета и миссии Христа. Для гуманиста Эразма Христос — проповедник человечности, отдавший свою кровь, чтобы избавить мир от кровопролития и раздора; Лютер же, ландскнехт бога, ссылается на Евангелие: Христос пришел «не мир принести, но меч». Христианин, говорит Эразм, должен быть терпимым и миролюбивым; тот христианин, отвечает непреклонный Лютер, кто ни в чем и никогда не уступает, поскольку речь идет о

божьем слове, пусть хоть весь мир погибнет. Он резко отклоняет призыв Эразма к единству и взаимопониманию: «Оставь свои жалобы и вопли, против этой лихорадки не поможет никакое лекарство. Эта война — война господ нашего, он начал ее и не остановится, покуда не погубит всех врагов слова своего». Мягкие разглагольствования Эразма свидетельствуют лишь о недостатке подлинной Христовой веры, а потому пусть остается в стороне при своих достохвальных латинских и греческих трудах, или, говоря на добром немецком языке, — при своих гуманистических забавах, и не касается в «напыщенных словесах» проблем, которые может решать единственно человек верующий, и верующий всецело. Пусть Эразм, требует Лютер, раз и навсегда перестанет вмешиваться в религиозную войну, «поелику бог не дал тебе силы, потребной для нашего дела». Сам же Лютер следует зову свыше и потому тверд душой: «Кто я и что я и каким духом оказался причастен к этому спору — это я вручаю всеведущему господу, дело же мое не моей, а божьей волей было начато и доселе ведется».

Это письмо означает разрыв между гуманизмом и немецкой Реформацией. Эразмово и Лютерово,

разум и страсть, общечеловеческую религию и фанатизм, наднациональное и национальное, многообразие и односторонность, уступчивость и упрямство не соединить, как воду с огнем. Где бы они ни сошлись на земле, стихия гневно шипит на стихию.

Лютер никогда не простит Эразму открытого выступления против себя. Этот воинственный человек не допускает иного исхода спора, как только полного уничтожения противника. В то время как Эразм ограничился одним ответом — довольно резким для его покладистого характера сочинением «Hyperaspistes»¹, а затем вновь возвращается к своим занятиям, Лютер продолжает полыхать яростью. Он не упускает случая осыпать ужаснейшей бранью человека, отважившегося перечить ему в одном-единственном пункте его учения, и его, как сетует Эразм, «смертоубийственная» ненависть не останавливается ни перед каким поношением. «Кто раздавит Эразма, тот расплющит клопа, и, мертвый, он воняет сильнее, чем живой». Он называет его «лютейшим врагом Христа», а когда од-

¹ «Заступник» (греч.).

нажды ему показывают портрет Эразма, предостерегает друзей, что это «хитрый, коварный человек, насмехающийся над богом и над религией», «день и ночь придумывающий увертки, и когда полагают, что он сказал много, он не сказал ничего». Лютер гневно кричит за столом: «Я в своем завещании закажу и всех вас беру во свидетели, что считаю Эразма злейшим врагом Христа, какого не бывало тысячу лет». Доходит, наконец, до кощунства: «Когда я молюсь, я проклинаю Эразма и всех еретиков, оскверняющих бога».

Но Лютер, яростный человек, которому в пылу борьбы кровь горячо застилает глаза, не всегда только воин, ради своего учения и пользы дела ему порой приходится быть дипломатом. Должно быть, друзья дали ему понять, что он поступает неразумно, обрушиваясь с такими дикими ругательствами и оскорблениями на старого, пользующегося уважением всей Европы человека. Тут Лютер откладывает меч и берет оливковую ветвь: через год после своей неистовой диатрибы ¹ он обращается к «злейшему врагу бога» с почти шутивным письмом, где извиняется за то, что «так резко его

¹ Резкого, желчного обвинения (греч.).

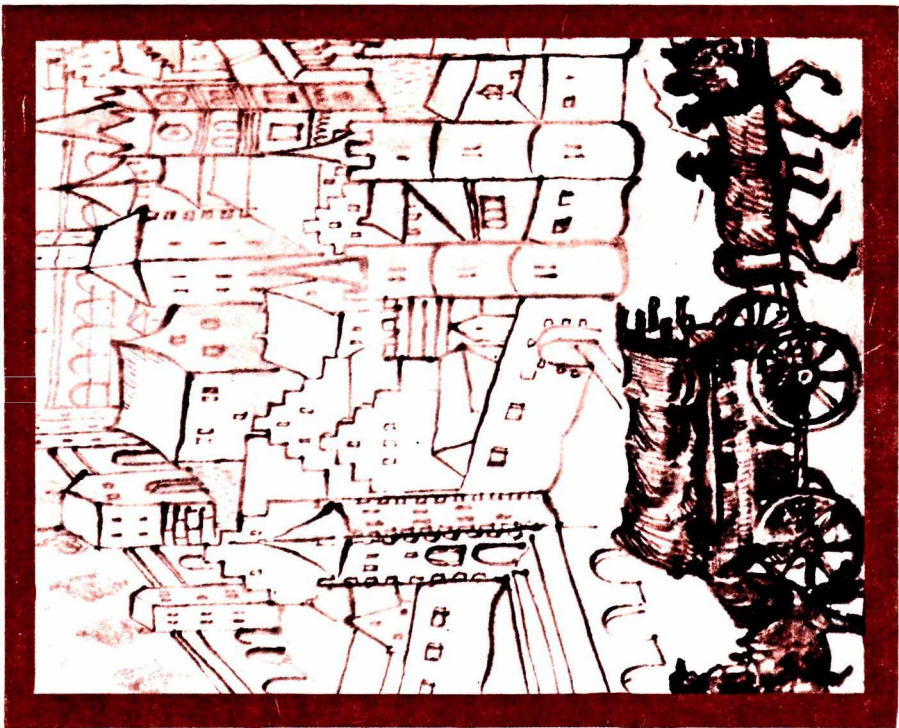
хватил». Но теперь Эразм решительно отклоняет объяснение. «Я не столь детского нрава, — жестко отвечает он, — чтобы после того, как на меня накинись с последними ругательствами, дать себя успокоить шуточками либо лестью. . . Чему служили все эти издевки, вся эта низкая ложь, будто я безбожник, скептик в делах веры, богохульник и не знаю, кто еще? . . . Происшедшее между нами не так важно, во всяком случае для меня, уже близкого к могиле; но меня, как всякого порядочного человека, возмущает то, что из-за твоих надменных, бесстыдных и подстрекательских действий рушится мир. . . и что по твоей воле эта буря не кончится добром, как я к тому стремился. . . Наша распря — дело личное, но мне причиняет боль общая беда и неизлечимая сумятица, которой мы обязаны лишь твоему упорному нежеланию прислушаться к добрым советам. . . Я пожелал бы тебе иного образа мыслей, чем тот, каким ты так гордишься, ты, со своей стороны, можешь пожелать мне всего, чего угодно, только не твоего душевного склада — если бы господь мог тут что-нибудь изменить». С несвойственной ему твердостью Эразм отталкивает руку, превратившую в руины его мир, он не желает больше приветствовать и знать это-

го человека, разрушившего согласие церкви и ввергнувшего Германию и весь свет в ужасающую духовную смуту.

Да, смута царит в мире, и никто не может от нее убежать. Судьба не оставляет Эразма в покое, таков уж его удел: когда он жаждет тишины, мир вокруг начинает дыбиться. Лихорадка Реформации охватила и Базель, город, куда он бежал, привлеченный его нейтральностью. Толпа штурмует церкви, срывает иконы и украшения с алтарей и сжигает в трех огромных кострах перед кафедральным собором. В ужасе видит Эразм, как вечный враг его, фанатизм, с огнем и мечом неистовствует вокруг его дома. Одно может утешить его в этом столпотворении: «Кровь не пролилась — если бы так и оставалось». Но теперь, когда Базель стал протестантским городом, он, которому претит всякий дух односторонности, не желает оставаться в его стенах. Шестидесяти лет Эразм, ищущий покоя для своей работы, переезжает в Австрию, в тихий Фрейбург, где горожане и власти встречают его торжественной процессией и предлагают поселиться в императорском дворце. Однако он отказывается от роскошного жилища и выбирает маленький домик близ монастыря, чтобы жить в тишине

и умереть в мире. Могла ли история придумать более яркий символ для этого человека середины, всюду неприемлемого, потому что ни с кем он не хотел быть заодно: из Лувена Эразм бежал, так как этот город был слишком католическим, из Базеля — так как он стал слишком протестантским. У свободного, независимого духа, не желающего ничем себя связывать и ни к кому примыкать, нет на земле пристанища.





конец

В

шестьдесят лет, усталый и постаревший, Эразм во Фрейбурге снова сидит за своими книгами, убежав — который раз! — от натиска и тревог мира. Все заметнее тает его маленькое худое тело, все больше тонкое лицо его, изборожденное тысячью морщин, напоминает исписанный мистическими знаками и рунами¹ пергамент.

¹ Древнейшими письменами (др.-герм.).

Человек, некогда страстно веривший в духовное возрождение мира, в обновление человечества, становится все печальней, насмешливей, все ироничней. Ворчливо, как все старые холостяки, сетует он на упадок наук, на злобу врагов, на дороговизну и обманщиков-банкиров, на дурные и кислые вина.

Все больше этот великий Разочарованный чувствует себя чужим миру, который вовсе и не желает мира, а каждодневно позволяет страстям коварно убивать разум, насилию — справедливость. Сердце его давно клонится ко сну — но не рука, не мозг, на редкость ясный и светлый, озаряющий постоянным и безупречным лучом все, что попадает в поле зрения неподкупной мысли. С ним его единственная подруга, самая старая, лучшая, верная: работа.

Каждый день Эразм пишет от тридцати до сорока писем, заполняет целые фолианты переводами отцов церкви, пополняет свои «Разговоры» и продолжает огромную серию сочинений на эстетические и моральные темы. Он пишет и работает, как человек, верящий в право и обязанность разума говорить даже неблагоприятному миру свое вечное слово.

Но в душе он давно знает: когда мир сходит с ума, бессмысленно призывать людей к человечности; он знает, что его высокая и благородная идея гуманизма потерпела поражение. Все его устремления и надежды на то, что оголтелая воинственность сменится взаимопониманием и добрым согласием, разбились об упрямство фанатиков; его духовному, платоновскому государству, которое он мечтал видеть среди государств земных, нет места на полях сражений.

Люто воюют религия с религией, воюют Рим, Цюрих и Виттенберг, бесконечные битвы, как бури, проносятся над Германией, Францией, Италией, Испанией, имя Христа превратилось в боевой клич и воинское знамя.

Разве не смехотворно еще писать при этом трактаты и призывать князей образумиться, разве не бессмысленно напоминать о евангельском учении, когда божьи наместники и глашатаи орудуют словом евангельским, точно секирой? «У всех на устах эти пять слов: Евангелие, Заповедь, Вера, Христос, Дух, — но я вижу, что многие ведут себя будто одержимые дьяволом».

Нет, в такие времена ни к чему стараться быть посредником, благородной мечте о нравственно еди-

ном гуманистическом царстве пришел конец, и он, Эразм, старый усталый человек, который некогда так желал его, теперь не нужен миру — его не слышат. Мир идет своим путем.

Но прежде чем свеча погаснет, она еще отчаянно вспыхивает. Идея, почти погребенная ураганами эпохи, показывает напоследок свою силу. Так озаряет мир еще на мгновение, краткое, но великолепное, Эразмова мысль — идея примирения и посредничества.

Карл V, повелитель обоих миров, принимает важное решение. Император — уже не тот неуверенный юноша, каким он явился когда-то на рейхстаг в Вормсе. Вместе с разочарованиями и опытом пришла зрелость, а крупная победа над Францией как раз дает ему наконец необходимую уверенность и авторитет. Возвратясь в Германию, он решает окончательно навести порядок в религиозном споре, восстановить разорванное Лютером единство церкви — если понадобится, то и силой; пока же он пробует в духе Эразма достичь согласия и компромисса между старой церковью и новыми идеями; он хочет «созвать собор мудрых и беспристрастных мужей», дабы с любовью и тщательно выслушать и обсудить все соображения, которые могли бы спо-

собствовать единству и обновлению христианской церкви. С этой целью император Карл V созывает рейхстаг в Аугсбурге.

Аугсбургский рейхстаг * — одно из величайших мгновений немецкой судьбы и, больше того, поистине звездный час человечества, одна из тех невозвратимых исторических возможностей, которые могут преопределить ход грядущих столетий.

Внешне, быть может, не столь драматичный, как вормский, рейхстаг в Аугсбурге не уступает ему по историческому значению. Речь, как и прежде, идет о духовном и церковном единстве Запада.

События в Аугсбурге поначалу развиваются в направлении, исключительно благоприятном для эразмовской идеи, для того примирительного разговора между сторонами, к которому он всегда призывал. Оба лагеря, старая и новая церковь, испытывают кризис и готовы поэтому к большим уступкам. Католическая церковь утратила изрядную часть того надменного высокомерия, с каким она наблюдала за выступлением маленького немецкого еретика: Реформация, словно лесной пожар, охватила весь север Европы и с каждым часом переки-

дывалась все дальше. Новым учением уже захвачены Голландия, Швеция, Швейцария, Дания и прежде всего Англия; князья, всегда озабоченные денежными делами, вдруг обнаруживают, как выгодно для их финансов прибрать во имя Евангелия к рукам богатое церковное имущество; старое боевое оружие Рима — анафема и отлучение давно уже не имеют той силы, как во времена Каноссы *, с тех пор как какой-то августинский монах смог публично сжечь на веселом огне папскую буллу и остаться безнаказанным.

Особенно же пострадала самоуверенность папства после того, как наместнику святого Петра довелось взглянуть со стен замка святого Ангела на разграбленный Рим. «Sacco di Roma» ¹ на десятилетия сбило с курии спесь.

Но и для Лютера и его сподвижников после бурных и героических дней Вормса наступила пора забот.

В евангелическом лагере тоже плохи дела с «любезным согласием церкви», ибо не успел еще Лютер оформить собственную церковь в целостную организацию, а уже появились соперники—церкви

¹ Разграбление Рима * (итал.).

Цвингли и Карлштадта, англиканская церковь Генриха VIII, секты «швармгайстеров» и перекрещенцев *.

Сам отъявленный фанатик, Лютер все-таки почувствовал, что его духовный замысел многие восприняли в сугубо плотском смысле и ярко используют для своей пользы и выгоды. Лучше всего выразил трагизм позднего периода жизни Лютера Густав Фрейтаг *: «Кто избран судьбой творить новое, великое, тот заодно обращает в развалины часть собственной жизни. И чем он добросовестней, тем глубже разрез, которым он рассекает мироздание, проходит по его собственному нутру. В этом тайная боль и горечь всякой великой исторической мысли».

Впервые обычно твердый и непримиримый Лютер обнаруживает некоторое стремление к взаимопониманию. Осторожнее стали и его партнеры, которые всегда так взнуздывали его волю, и немецкие князья, увидевшие, что у Карла V, их властелина и императора, вновь свободны и хорошо вооружены руки: пожалуй, думают некоторые из них, не стоит бунтовать против этого повелителя Европы: можно потерять и землю и голову.

Впервые как будто исчезла та дикая неуступчивость, что и прежде и потом руководила немцами в делах веры, впервые слабеет фанатизм и открываются небывалые возможности. Ведь если бы старая церковь и новое учение достигли согласия в духе Эразма, вся Германия, весь мир вновь могли бы прийти к духовному единству, удалось бы избежать столетней религиозной войны, гражданской войны, войны между государствами, страшного разрушения культурных и материальных ценностей. Прекратились бы позорные преследования за веру, погасли бы костры, исчезло бы ужасное клеймо «Индекса» и инквизиции, многострадальная Европа убереглась бы от неисчислимых бедствий.

По существу, противников разделяет лишь небольшое расстояние. Сделать несколько шагов навстречу друг другу — и победит разум, дело гуманизма, победит Эразм.

Обнадеживает, помимо всего, и то обстоятельство, что протестантов в Аугсбурге представляет не Лютер, а более дипломатичный Меланхтон. Этот необычайно мягкий и благородный человек, которого протестантская церковь чтит как ближайшего

друга и сподвижника Лютера, странным образом всю жизнь оставался и верным почитателем его великого противника, преданным учеником Эразма. Гуманистическое и гуманное понимание евангелического учения в духе Эразма даже ближе его рассудительному нраву, чем жесткая и строгая Лютерова редакция; однако могучая личность Лютера, сила его внушения действуют на него подавляюще.

В Виттенберге, в непосредственной близости от Лютера, Меланхтон чувствует себя полностью покорным его воле, смиренно и усердно отдает он в его распоряжение свой ясный организаторский ум. Но здесь, в Аугсбурге, впервые освободившись от личного гипноза Лютера, Меланхтон может наконец дать волю и другой, «эразмовской» стороне своей природы.

Он без обиняков заявляет о готовности к примирению и заходит в уступках так далеко, что уже почти стоит одной ногой в старой церкви. «Аугсбургское исповедание», выработанное лично им, поскольку Лютер, как признается он сам, «не может ступать так мягко и тихо», при всех своих ясных и искусных формулировках, не содержит ничего грубо-вызывающего для католической церкви.

С обеих сторон звучат до удивления примирительные слова.

Меланхтон пишет: «Мы уважаем авторитет римского папы и все церковное благочестие, если только римский папа не отвергнет нас». В свою очередь представитель Ватикана полуофициально заявляет о возможности дискуссии по вопросу о безбрачии духовенства и причастии.

Несмотря на все трудности, собравшиеся начинают испытывать тихую надежду. Окажись сейчас здесь человек с высоким моральным авторитетом, с глубокой и страстной волей к миру, используй он всю силу своего посреднического красноречия, все искусство своей логики, мастерство формулировок — он, может, сумел бы в последний момент привести к согласию протестантов и католиков.

Этот один-единственный человек — Эразм.

Император Карл, властелин обоих миров, настойчиво приглашал его на рейхстаг, он хотел просить его совета и посредничества. Но трагически повторяется роковая неспособность этого прозорливого человека двинуться по пути, который он так ясно видит. Его удел — понимать, как никто другой, историческую важность мгновения и, не

найдя в себе силы и мужества, уклоняться от решения. В этом снова его историческая вина.

Эразма нет на аугсбургском рейхстаге, как не было и на вормсском. Он не находит решимости лично выступить в защиту своего дела, своих убеждений. Разумеется, он пишет письма, множество писем и тем и другим, очень умных, очень человеческих, очень убедительных писем, он призывает своих друзей в обоих лагерях, с одной стороны, Меланхтона, с другой — папского посланника пойти навстречу друг другу.

Но в напряженный, решающий час письма не имеют такой силы, как горячий, живой призыв. К тому же Лютер шлет из Кобурга послание за посланием, чтоб заставить Меланхтона быть более жестким и неуступчивым. Под конец противоречия обостряются.

Без гениального посредника идея взаимопонимания оказывается перемолотой среди бесчисленных дискуссий, как плодородное зерно между жерновами.

Великий совет в Аугсбурге окончательно раскалывает надвое христианский мир, который хотел

бы объединить. Не спокойствие, но разлад царит в нем.

Жестко звучит последнее слово Лютера: «Будет из этого война — пусть будет, мы достаточно предлагали и делали». И трагически — слово Эразма: «Если увидишь, что в мир пришла страшная смута, вспомни, что Эразм предсказал ее».

После того как эразмовская идея потерпела окончательное поражение, этот старый человек в своей фрейбургской книжной раковине — уже никому не нужная, бледная тень былой славы. Он сам лучше всех чувствует, что мягкому, уступчивому человеку не место «в этом буйном, а лучше сказать, бешеном веке». К чему влачить дряхлое, подагрическое тело в этом ставшем таким немирным мире? Эразм устал от жизни, которую так когда-то любил, и потрясающая мольба срывается с его уст: «Господи, призови же меня, наконец, из этого безумного мира!» Ибо где найти место человеку духа, когда сердца распалены фанатизмом? Враги штурмуют великое царство гуманизма, которое он создал, они уже почти покорили его, кончилось время «*eruditio et eloquentia*», люди теперь при-

слушиваются не к нежному слову поэзии, а лишь к грубому, накаленному слову политики. Мысль стала добычей массового безумия, превратившись либо в лютеровскую, либо в папистскую, ученые более не ведут поединки элегантными письмами и брошюрами, а, точно базарные торговки, осыпают друг друга грубыми, вульгарными ругательствами. Ни один не желает понимать другого, но каждый стремится оттиснуть на другом клеймо своей доктрины, своей веры, и горе тем, кто хочет остаться при своих собственных взглядах: нейтральность вызывает двойную ненависть. Как одиноко в такие времена тому, кто продолжает держаться лишь духовных ценностей! Ах, для кого же писать, когда среди политического крика и брани уши стали глухи к тонким полутонам, к мягкой иронии? С кем вести богословские дискуссии, с тех пор как они попали в руки доктринеров и религиозных фанатиков, для которых лучшее и последнее доказательство правоты — солдатня, кавалерия и пушки? Христу хотят служить бердышами и палаческими мечами, грубое насилие обрушивается на свободомыслящих, на тех, кто осмелился заявить о своих взглядах. Наступила смута, которую он предсказывал.

Ужасные вести со всех сторон стучатся в его усталое, отчаявшееся сердце. В Париже сожгли на медленном огне Беркена, его переводчика и ученика. В Англии отправляют на плаху его любимых, его благороднейших друзей — Джона Фишера и Томаса Мора (блажен, у кого есть силы принять мученичество за свою веру!), и Эразм стонет, получив это известие: «У меня такое чувство, словно вместе с ними умер я сам». Цвингли, с которым он часто обменивался письмами и дружеским словом, убит в сражении под Каппелем, Томас Мюнцер замучен пытками, хуже которых не выдумали бы язычники. Перекрещенцам вырывают языки, проповедников терзают раскаленными клещами и поджаривают на кострах, грабят церкви, сжигают книги и города. Рим, краса мира, опустошен ландскнехтами... О боже, какие звериные инстинкты беснуются во имя твое! Нет больше в мире места свободе мысли, пониманию и терпимости, этой основе гуманистического учения. На столь кровавой почве не могут процветать искусства; на десятилетия, столетия, а может, и навсегда прощай мечта о наднациональной общности; чахнет латынь, этот последний язык единой Европы, язык его сердца, — умри же и ты, Эразм!

... Но рок его жизни опять, теперь уже последний раз, побуждает вечного кочевника пуститься в странствие. Уже почти семьдесят лет он вдруг снова покидает свой кров. Какая-то необъяснимая сила заставляет его оставить Фрейбург и отправиться в Брабант — туда звал его герцог, но в глубине души он знает: призывает его смерть. Таинственное беспокойство овладевает им, и он, всю жизнь сознательно проживший как космополит, не зная родины, чувствует, что его робко и с любовью влечет к родной земле. Усталое тело тянется обратно, туда, откуда оно пришло, предчувствие говорит ему, что эта его поездка — последняя.

Но до цели он уже не добрался. Маленькая дорожная карета, в каких обычно ездят женщины, доставляет ослабевшего старика в Базель; там он намерен некоторое время отдохнуть, дожидаясь весны, когда лед тронется и он сможет поехать в Брабант, на родину. Но Базель его не отпускает; здесь он еще находит душевное тепло, здесь по-прежнему живут преданные друзья: сын Фробена, Амербах и другие. Они заботятся об удобном пристанище для больного, берут его на свое попечение, да и старая типография, как прежде, на месте, он вновь может с наслаждением следить, как слово за-

думанное и написанное превращается в слово печатное, вдыхать жирный запах прессы, держать в руках изящные, четко напечатанные книги и с глазу на глаз вести с ними прекрасно-тихую, мирную, ученую беседу. Слишком усталый и обессиленный, чтобы покидать постель больше, чем на четыре-пять часов, Эразм, внутренне уже охладевший, проводит последние месяцы своей жизни в тишине и отгороженности от мира. Он чувствует себя забытым и отовсюду изгнанным: католики больше не интересуются им, протестанты над ним издеваются, никто не нуждается в его слове и приговоре. «Мои враги множатся, друзья мои исчезают», — горестно сетует одинокий человек, для которого гуманное духовное общение всегда было самым прекрасным, самым большим счастьем в жизни.

Но смотри: словно запоздалая ласточка в окно, уже покрытое морозными узорами, стучится еще раз в его одиночество слово почтения и приветия. «Всем, что я есть и чего я стою, я обязан тебе одному, и, не скажи я тебе этого, я был бы неблагодарнейшим человеком всех времен. *Salve itaque etiam atque etiam, pater amantissime, pater decusque patriae, litterarum, assertor, veritatis propugnator invictissime.* (Привет же тебе, привет, возлюблен-

ный отец и слава отечества, добрый гений искусств, непреклонный поборник истины.)» Имя автора этих строк затмит его собственное — это Франсуа Рабле, на заре своей юной славы приветствующий закат умирающего мастера.

Еще одно письмо приходит из Рима. Нетерпеливо вскрывает его Эразм — и с горькой усмешкой выпускает из рук. Не шутят ли над ним? Новый папа предлагает ему кардинальскую шапку с богатейшим доходом, ему, который во имя своей свободы всю жизнь презрительно избегал всяческих должностей.

Он твердо отклоняет почти оскорбительную честь. «Пристало ли мне, умирающему человеку, возлагать на себя бремя, от которого я отказывался всю жизнь?» Нет, умереть свободным, как свободно жил! Свободным, в простой одежде, без отличий и земных почестей — свободным, как все одинокие, и одиноким, как все свободные.

Но работа, вечная, вернейшая подруга одиноких и лучшая их утешительница, остается с больным до последнего часа. Лежа в постели, корчась от боли, Эразм дрожащей рукой день и ночь пишет и пишет — комментарии к Оригену*, брошюры,

письма. Он пишет уже не ради славы, не ради денег, а лишь ради таинственного наслаждения познавать, одухотворяя жизнь, и, познавая, жить полнее, вдыхать знание и знание выдыхать; лишь эта вечная диастола ¹ всего земного бытия, лишь этот круговорот поддерживает еще ток его крови.

Деятельный до последнего мгновения, он благословенным лабиринтом работы убегает от мира, которого не признает и не понимает, который не признает и не понимает его. Наконец великая примирительница подступает к его ложу. Вот она уже близко — смерть, которой Эразм всю жизнь так безмерно страшился, и усталый человек встречает ее тихим, почти благодарным взглядом.

Рассудок его ясен до самой кончины, он еще сравнивает друзей, стоящих у его кровати Фробена и Амербаха, с друзьями Иова* и беседует с ними на изящнейшей и одухотвореннейшей латыни. Но в последнюю минуту, когда удушье уже сдавливает ему горло, происходит странное: он, великий гуманистический ученый, всю жизнь говоривший и объяснявшийся на латыни, внезапно забывает этот привычный и естественный для него язык.

¹ Здесь: пульсация (греч.).

И в извечном для божьей твари страхе немеющие губы лепечут вдруг детское, родное «Lieve God» — «милый боже»: первое слово его жизни и слово последнее звучат на одном, нижненемецком наречии. Еще один вздох, и он обрел то, чего так страстно желал всему человечеству: вечный мир.





завещание Эразма

В ту самую пору, когда умирающий Эразм завещает грядущим поколениям стремиться к благороднейшей цели — к европейскому единству, во Флоренции выходит одна из наиболее смелых и дерзких книг мировой истории, пресловутый «Государь» Николо Макиавелли *. В этом математически ясном учебнике безоглядной политики власти и успеха четко, как в катехизисе, формулируется принцип, противоположный эразмовскому. Если Эразм

требует от государей и народа, чтобы они добровольно и мирно подчинили свои личные, эгоистические претензии интересам братской общности всех людей, Макиавелли провозглашает единственной целью помыслов и действий каждого государя и каждой нации волю к власти, волю к могуществу. Все силы народа должны быть отданы народной, а также религиозной идее; государственный интерес, предельное выявление собственной индивидуальности должны быть для него единственной очевидной самоцелью и конечной целью всего исторического развития; добиваться этого любимыми средствами — высшая в мире задача. Для Макиавелли высший резон — власть, усиление власти, для Эразма — справедливость.

Так на все времена были отлиты в духовную форму две основных, великих и вечных разновидности мировой политики: практическая и идеальная, дипломатическая и этическая, государственная и общечеловеческая. Эразм, с его философским взглядом на мир, относит политику, в духе Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского*, к сфере этики: государь, правитель должен быть прежде всего служителем божественной, нравственной идеи. Для Макиавелли же, профессионального

дипломата, знакомого с практикой государственных канцелярий, политика, напротив, представляет собой особую, не имеющую ничего общего с моралью науку. С этикой она так же мало связана, как с астрономией или геометрией. Государь и правитель должен не грезить о человечестве, понятии смутном и расплывчатом, а без всяких сантиментов считаться с вполне реальными людьми, единственным личным материалом, силы и слабости которого надлежит использовать в своих интересах и интересах нации с предельным психологическим мастерством; оставаясь холодным и ясным, он должен оказывать своим противникам не больше внимания и снисхождения, чем шахматист, добываясь всеми средствами, дозволенными или недозволенными, наивозможнейшей выгоды и превосходства для своего народа. По Макиавелли, власть и расширение власти — высшая обязанность, а успех — решающее право государя и народа.

В реальной истории воплощалась, разумеется, концепция Макиавелли, прославляющая принцип силы. Не компромиссная примирительная политика на благо всех людей, не эразмовский дух, а политика, сформулированная в «Государе», использующая всякую возможность для усиления

«домашней власти», определяла драматическое развитие Европы. Целые поколения дипломатов учились своему холодному искусству по учебнику политической арифметики, созданному безжалостно-проницательным флорентийцем; кровью и железом чертились и перечерчивались границы между нациями. Страстная энергия народов Европы обращалась не на сотрудничество, а на противоборство. Эразмовская же мысль, напротив, никогда еще не определяла ход истории и не оказывала ощутимого влияния на формирование европейской судьбы: великая гуманистическая мечта о примирении противоречий в духе справедливости, о желанном объединении наций под знаком общей культуры осталась утопией, не исполненной и, может быть, никогда не исполнимой в нашей действительности.

Но в мире духовном все противоположности находят место: ведь даже то, что в действительности никогда не побеждает, динамически воздействует на нее, и именно неисполнившиеся идеалы оказываются самыми неодолимыми. Идею, не получившую осуществления, нельзя поэтому ни победить, ни объявить ложной; необходимость, даже если она медлит с приходом, не становится менее

необходимой; напротив, лишь идеалы, не потрепанные, не скомпрометированные своим реальным осуществлением, сохраняют для каждого нового поколения силу нравственного импульса. Лишь они, еще не исполнившиеся, вечно возвращаются. Поэтому в духовной сфере гуманистический, эразмовский идеал, этот первый опыт европейского взаимопонимания, никогда не добивался ни главенства, ни существенного политического влияния, но это не обесценило его. Вряд ли можно ожидать, что гетевская невозмутимость когда-нибудь станет массовой формой жизни; гуманистический идеал, основанный на широте взгляда и просветленности сердца, обречен оставаться достоянием аристократов духа, передающих это наследство от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Зато никогда, даже в самые смятенные времена, эта вера в общность грядущей судьбы человечества не исчезнет совсем. Завещание, которое среди хаоса войны и европейских междоусобиц оставил Эразм, этот разочарованный, но не дающий разочароваться до конца старик, возрождает древнюю надежду всех религий и мифов: человечество когда-нибудь неизбежно станет человечней, ясный и справедливый разум одержит верх над эгоистичными прехо-

дящими страстями. Впервые намеченный неверной, несмелой рукой, этот идеал оживляет надеждой взоры многих поколений Европы. Ни одна одухотворенная мысль, ни одно слово, исполненное нравственной чистоты и силы, не пропадают втуне. Побежденный в мире земном, Эразм останется славен тем, что проложил в литературу путь гуманистической мысли — простой и вечной мысли о высшей цели человечества — гуманности, духовности и познании. Этот завет благоразумия и снисходительности подхватывает его ученик Монтень*, для которого «бесчеловечность есть худший из всех пороков»: «que je n'ay point le courage de concevoir sans horreur»¹. Спиноза призывает от слепых страстей возвыситься до «amor intellectualis»². Дидро, Вольтер и Лессинг, скептики и в то же время идеалисты, борются против ограниченности, за широту и терпимость; идея мирового гражданства обретает поэтические крылья под пером Шиллера, а требование вечного мира — под пером Канта; и вплоть до Толстого, Ганди и Ролла-

¹ У меня не хватает духу думать об этом без ужаса (франц.).

² Духовной любви (лат.).

на дух взаимопонимания вновь и вновь заявляет о своих нравственных правах вопреки праву кулака и силы. Вера в мирное будущее человечества возрождается с особой силой именно во времена самых ярых междоусобиц, ибо человечество никогда не сможет жить и творить без этой утешительной безумной надежды. И пусть холодные умники математически доказывают бесперспективность Эразмовой идеи, пусть действительность вновь и вновь как будто подтверждает их правоту — всегда нужны будут люди, которые среди раздоров напоминают о том, что объединяет народы, которые возрождают в сердцах человеческих мечту о торжестве человечности. Завещание Эразма — великий обет. Ибо лишь возвышаясь до общечеловеческого, человек может превзойти самого себя. Только ставя цели выше личных, и, быть может, невыполнимые, люди и народы познают свое истинное, святое назначение.



примечания

Стр. 15

Апокалипсис — часть Библии, содержащая мистические пророчества о «конце света».

Стр. 33

Сократ (470/469 — 399 до н. э.) — древнегреческий философ, утверждавший, что добродетель коренится в знании. Этическое учение Сократа было близко Эразму и другим гуманистам эпохи Возрождения.

Стр. 34

Жан Кальвин (1509—1564) — видный деятель европейского реформационного движения, основоположник кальвинизма. Родился во Франции, обосновался в Швейцарии (Женева). Его единомышленниками во Франции были гугеноты, в Англии — пуритане. Отличался крайней религиозной нетерпимостью. В сочинении «Защита правоверного учения» (1554) заявлял, что с «еретиками» следует расправляться без всякого снисхождения. Враждебно относился к светской культуре Возрождения, к развлечениям, нарядным одеждам, танцам.

Стр. 37

Эсперанто — созданный в 70-х гг. XIX в. искусственный международный язык, который отличался несложным словообразованием и грамматикой, корни слов брались из наиболее распространенных европейских языков.

Стр. 43

Гвельфы и гиббеллины — политические партии в Италии, ведшие между собой в XII—XIV вв. ожесточенную борьбу. Гиббеллины были сторонниками германских императоров, возглавлявших «Священную Римскую империю», гвельфы — их противниками. К гвельфам тяготели преимущественно торгово-ремесленные круги, к гиббеллинам — феодальная знать.

«И н д е к с». — Имеется в виду «И н д е к с з а п р е щ е н н ы х к н и г» (Index librorum prohibitorum), то есть список книг, которые католическая церковь запрещала печатать, а верующим — и читать под угрозой отлучения.

Стр. 44

«Н а д с х в а т к о й» — сборник статей Ромен Роллана 1914 года, когда он заявил себя идейным противником войны и резко осудил шовинистические настроения французской буржуазии. В 1935 году Роллан, ставший активным борцом антифашистского фронта, выпустил книгу с автополемическим названием «В схватке», считая, что художник не может занимать стороннюю позицию.

Согласно легенде, А р н о л ь д В и н к е л ь р и д, швейцарец из Унтервальдена, решил исход сражения при Земнахе

(1386): он героически бросился на пики австрийских рыцарей. Воспользовавшись замешательством врагов, швейцарцы одержали победу.

Стр. 45, 46

Следуют имена вольнодумцев XV—XVI вв., поплатившихся жизнью за смелые выступления против господствовавших взглядов. Я н Г у с (1371—1415) — национальный герой чешского народа, великий реформатор, задолго до Лютера бросивший вызов римско-католической церкви. Доминиканский монах Д ж и р о л а м о С а в о н а р о л а (1452—1498) из Флоренции резко обличал папство и его политику. М и г е л ь С е р в е т (1509 или 1511—1553) — выдающийся испанский ученый, врач, с позиций пантеизма¹ критиковавший вероучение католиков и протестантов. Т о м а с М ю н ц е р (около 1490—1525) — идеолог и вождь крестьянско-плебейских масс в годы Реформации и Великой Крестьянской войны в Германии. Д ж о н Н о к с (1505 или 1513—1572) — шотландский реформатор, сторонник кальвинизма. В 1547 г. был взят в плен французами и, как враг католической церкви, два года пробыл прикованным к галере в Руане. Т о м а с М о р (1478—1535) — великий английский гуманист, автор «Утопии» (1516), противник самодержавного деспотизма, казненный королем Генрихом VIII. Жертвой произвола Генриха VIII стал также Д ж о н Ф и ш е р (1459—1535) — епископ Рочестерский, не пожелавший, подобно Т. Морю, санкционировать самодержавные начинания короля. У л ь р и х Ц в и н г л и (1484—1531) — швейцарский реформатор, погиб в битве

¹ П а н т е и з м — религиозно-философское учение, отождествляющее бога с природой.

при Каппеле во время столкновения цюрихских «цвинглианцев» с католическими кантонами.

Стр. 46

Ганс Гольбейн Младший (1497—1543) — уроженец Аугсбурга, замечательный художник, автор ряда портретов Эразма Роттердамского, а также рисунков к его «Похвале глупости».

Стр. 55

Франсиско Писарро (между 1470 и 1475—1541)— испанский конкистадор, завоеватель Перу.

Стр. 60

Относительно даты рождения Эразма ведется спор — от 1466 до 1469. В 1966 г. Всемирный Совет Мира постановил провести пятисотлетний юбилей великого гуманиста. На его родине, в Голландии, 1969 г. был объявлен «годом Эразма». Дата рождения — 1469 — принята как наиболее вероятная.

Чарльз Рид (1814—1884) — английский писатель. Упоминаемый Цвейгом роман «Монастырь и очаг» — «The cloister and the hearth» (1861) был почти сразу после выхода в свет переведен на русский язык (1862).

Стр. 62

Рейнеке Лис — герой одноименного народного животного эпоса, написанного на нижненемецком языке, «Reinke de Vos» (1498), а также нидерландских прозаических версий XV—XVI вв., в том числе народной книги «Reynaert de Vos» (1564). Гете в своем известном «Рейнеке Лисе» («Reineke Fuchs», 1794) переложил гекзаметром старинную немецкую поэму. Всяду лукавый Лис проявляет удивительную находчи-

вость, сообразительность и изворотливость, оставляя в дураках сильного, но тупоумного Волка и даже вода за нос могущественного царя зверей Льва.

Стр. 65

Парижская коллегия Монтегю — закрытое учебное заведение монастырского типа, в котором еще продолжали сохраняться средневековые порядки.

Стр. 66

Игнатий Лойола (1491—1551) — основатель ордена иезуитов (1534), фанатик контрреформационного движения в Испании.

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532—1552) великого французского гуманиста Франсуа Рабле (1498—1553) весело осмеяна средневековая схоластика, в частности схоластическое обучение, чуть было не доведшее молодого великана Гаргантюа до полного отупения.

Стр. 67

Геликон — согласно древнегреческим сказаниям, гора в Беотии, служившая местопребыванием муз и Аполлона. Там находился священный источник Аполлона — Гиппокрена, вдохновлявший поэтов.

Стр. 68

Вальтер фон дер Фогельвейде (около 1170—около 1230) — наиболее выдающийся поэт немецкого средневековья.

Стр. 70

Альдус — венецианский гуманист Альд Мануций (Aldus Manutius, 1449—1515) был знаменитым издателем

и типографом. Его издания (преимущественно произведения античных авторов) отличались большой научной точностью и полиграфическим совершенством. Преемниками Альда стали его сын Паоло (1512—1574) и внук Альд Младший (1547—1597).

Стр. 72

Уильям Блаунт, четвертый лорд Маунтджой (около 1479—1534) — воспитатель короля Генриха VIII. Был кровителем и меценатом Эразма.

Феодалная междоусобная война, известная под названием Войны Алой и Белой Розы (1455—1485), велась со страшным ожесточением и сопровождалась многочисленными жертвами и разрушениями.

Стр. 73

Пьер де Ронсар (1524—1585) — крупнейший ренессансный поэт Франции.

Джон Уиклиф (Уиклиф, между 1320 и 1330—1384) — английский реформатор, отвергавший культ святых, индульгенции, церковную собственность и ряд других церковных обычаев и догм. Встречал поддержку со стороны Оксфордского университета.

Джон Колет (около 1467—1519) — английский гуманист, близкий друг Т. Мора. В лекциях, читанных в Оксфордском университете, свободно толковал библейские тексты. Став настоятелем собора святого Петра в Лондоне, открыл в 1509 г. при соборе школу, сделавшуюся рассадником гуманистического воспитания.

Стр. 75

Для Эразма и многих гуманистов эпохи Возрождения Платон (428/7—348/7 до н. э.) являлся самой высокой вершиной античной философии. С позиций пантеистического платонизма гуманисты вели борьбу со схоластикой и католической догматикой.

Стр. 76

Лодовико Ариосто (1474—1533) — один из самых выдающихся поэтов итальянского Возрождения, автор обширной поэмы в октавах «Неистовый Роланд» (1507—1532), которая создавалась при жизни Эразма. Поэма привлекает своей живописной нарядностью, романтической занимательностью и яркой жизнерадостностью.

Джефри Чосеру (около 1340—1400), называемому «отцом английской поэзии», принадлежит ряд поэм и стихотворные «Кентерберийские рассказы» (1386—1389) — наиболее значительное произведение английской литературы кануна Возрождения.

Искусство Гутенберга — книгопечатание. Иоганн Гутенберг (около 1400—1468) изобрел книгопечатание и первым в Европе начал печатать книги.

Стр. 77

Иоганн Фробен (около 1460—1527) — базельский книгоиздатель, друг Эразма, напечатавший многие его произведения.

Стр. 78

Выражение «башня из слоновой кости» принадлежит французскому поэту и критику Сент-Беву (1804—1869).

Для творчества французских поэтов-романтиков конца 30-х гг. XIX в. характерен уход от тяготившей их прозы буржуазной действительности в особый замкнутый мир грез, в «башню из слоновой кости».

Линкей — кормчий на корабле аргонатов, плывших за золотым руном. Отличался необычайно острым зрением.

Стр. 79

Блез Паскаль (1623—1662) — французский ученый и философ. В отличие от гуманистов эпохи Возрождения видел в человеке существо трагически ограниченное по своим возможностям и нравственно ничтожное, тяготеющее к порокам и грехам. Только в боге может, по мнению Паскаля, человек найти выход из безнадежного тупика, но путь к богу проходит не через Разум, а через Сердце («Мысли»).

Парацельс (1493—1541) — швейцарец по происхождению, врач и алхимик. Много сделал для развития медицины, в то же время сохранял веру в «натуральную» магию, полагая, что вся природа населена духами.

Стр. 80

Аттическая соль — тонкая острота, которая считалась присущей афинянам.

Стр. 83

«**Адагии**» («Adagia» — первое издание 1500, последнее, значительно дополненное издание — 1536) — сборник греческих и латинских изречений, пословиц и поговорок («адагии» — пословицы).

Стр. 87

Иога нн К а с п а р Л а ф а т е р (1741—1801) — автор на шумевших в свое время «Физиогномических фрагментов для поощрения человекопознания и человеколюбия» (1775—1778), в которых речь шла о том, как по чертам лица узнавать характеры и духовные свойства людей.

Стр. 88

А л ь б р е х т Д ю р е р (1471—1528) — великий немецкий живописец и гравер эпохи Возрождения.

К в и н т е н М е т с е й с (1486—1529) — голландский живописец.

Стр. 89

Т е р м и н почитался богом межей, пограничных межевых знаков, священных камней. С Термином связано понятие термина (латинское terminus — «предел, граница»). Изображение Термина было эмблемой Эразма, отсюда его девиз: «Никому не уступлю!»

Стр. 91

Портрет Эразма работы Гольбейна, о котором пишет Стефан Цвейг, находится в Париже, в Лувре.

Стр. 94

Э п и к у р е е ц — последователь философа Эпикура (341—270 до н. э.), в переносном смысле — человек, живущий для наслаждений.

Стр. 98.

Цитата из поэмы Данте Алигьери (1265—1321) «Божественная комедия», состоящей из трех частей: «Чистилище», «Ад» и «Рай».

Стр. 100

Камера обскура — темный ящик, в котором лучи, проходя через малое отверстие, отражаются на противоположной стенке и дают уменьшенное изображение предмета.

Стр. 108

Папа Юлий II (1443—1513), стремясь укрепить папскую область и освободить Италию от чужеземного ига, проявляя чрезвычайную активность на дипломатическом и военном поприще. Он заключал союзы, интриговал и вел войны. Когда в 1511 г. разгорелась война между Францией и так наз. «Священной лигой», включавшей Венецианскую республику и папские владения, Юлий II лично командовал союзными войсками.

Стр. 109

Демосфен (около 384—322 до н. э.) — великий древнегреческий оратор.

Стр. 110

Повесть о Кандиде — имеется в виду остроумная философская повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

Стр. 113

«Блаженна жизнь, пока живешь без дум» — слова из трагедии великого древнегреческого трагика **Софокла (около 497—406 до н. э.)** «Аянт Биченосец».

Стр. 114

Бен Джонсон (1573—1637) — младший современник Шекспира, английский драматург, автор комедий «Вольпоне, или Хитрый лис» (1605), «Эписин, или Молчаливая женщина» (1609), «Варфоломеевская ярмарка» (1614) и др.

Стр. 119

Рассматривая католический обычай изображать святых на иконах и в скульптуре как недопустимый пережиток язычества, протестанты эпохи Реформации решительно уничтожили иконы и статуи, украшавшие католические храмы. Особенно бурный характер иконоборческое движение приняло в Нидерландах, где в 1566 г. разгромлено было свыше пяти тысяч церквей и монастырей.

Назарейская чистота — имеются в виду обычаи и взгляды древних христиан.

Стр. 121

«Кинжал христианского воина» (1504). — Греческое слово «энхиридион» означает и «кинжал» и «краткое руководство, пособие». Эразм не случайно дал такое название этому наставлению в христианском благочестии: представление о христианине как о воине Христа было общепринятым в средние века. «Кинжал» — одно из самых известных богословских сочинений Эразма, по нему можно судить о системе его взглядов.

Стр. 122

Осуществленный Эразмом новый перевод Евангелия на латинский язык сыграл большую роль в идейной подготовке Реформации. Каноническим текстом Библии католическая церковь признавала латинский перевод (с древнееврейского и древнегреческого), сделанный еще в IV в. святым Иеронимом (так наз. Вульгата). Эразм указал на многочисленные неточности и ошибки, вкравшиеся в текст Вульгаты и искажавшие смысл оригинала. Тем самым он нанес чувствительный удар

авторитету господствующей церкви, которая на протяжении веков неизменно опиралась на этот искаженный текст в своих богословских построениях.

Стр. 128

Филипп Меланхтон (1497—1560) — немецкий гуманист, с 1518 г. — профессор греческого языка в Виттенбергском университете, сподвижник Лютера, активный деятель и теоретик бюргерской Реформации («Общие принципы теологии», 1521), стремившийся классическое образование подчинить требованиям лютеранства.

Муцнан Руф (1471—1526) — глава эрфуртского кружка гуманистов, принимавших участие в создании «Писем темных людей» (1515—1517) — язвительной сатиры, осмеивавшей духовное убожество схоластов, озлобленных противников передового гуманистического движения.

Иоахим Камерарий (1500—1574) — участник эрфуртского кружка гуманистов, видный филолог и педагог, примкнувший к Лютеру, автор книги «Жизнь Меланхтона».

Стр. 129

Карл V, «повелитель обоих миров». — «Священная Римская империя» Карла V (1500—1558) включала владения как в Старом, так и в Новом Свете. По словам современников, в этой обширной империи «никогда не заходило солнце».

Стр. 136

Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) — древнеримский политический деятель, оратор и писатель, высоко чтимый гуманистами эпохи Возрождения.

Стр. 144

Император «Священной Римской империи» Максимилиан I (1459—1519), названный «последним рыцарем»; покровительствовал художникам и ученым. Для него А. Дюрер украсил рисунками поле молитвенника, напечатанного в 1513 г. по личному заказу императора. Не был чужд Максимилиан и поэзии. Ему принадлежит аллегорическая рыцарская поэма «Тейерданк» (1517), завершившая развитие рыцарского эпоса в Германии.

Стр. 148

Зевксис (V—IV вв. до н. э.) и Апеллес (IV в. до н. э.) — прославленные древнегреческие живописцы.

Фидий (V в. до н. э.) — прославленный скульптор Древней Греции.

Стр. 149

Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий гуманист. Происходил из старинного рыцарского рода. Принимал участие в Ландаусском восстании рыцарства 1522 г. против княжеского деспотизма. Был горячим сторонником лютеровской Реформации. В ряде сатирических диалогов обрушивался на папский Рим, беззастенчиво грабящий Германию, а также на самоуправство немецких князей, наполняющих страну преступлениями и смутами. Был одним из основных авторов «Писем темных людей»

Стр. 151.

Георг Спалатин (1485—1545) — немецкий гуманист, теолог, историк и государственный деятель, сторонник лютеранства.

Стр. 152

А р и с т о т е л ь (384—322 до н. э.) — великий древнегреческий философ.

Стр. 155

Речь идет о статуе Моисея, которую великий итальянский скульптор Микеланджело Буонарроти (1475—1564) изваял для гробницы папы Юлия II. Традиционные рога, венчающие голову Моисея, восходят к ошибочному толкованию одного места в Библии, где говорилось о лучах света. Христианская иконография превратила эти лучи в рога.

Стр. 157

Б и б л е й с к и е л и с ы своими головнями. — В «Книге судей Израилевых» повествуется о том, как могучий Самсон отомстил филистимлянам, господствовавшим над еврейскими племенами. Он «поймал триста лисиц, взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами; и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные».

Стр. 161

А н д р е а с К а р л ш т а д т (около 1480—1541) — деятель бюргерской Реформации, профессор Виттенбергского университета. Сперва являлся активным соратником Лютера, затем занял более радикальные позиции в реформационном движении. В 1529 г. вынужден был бежать из Германии, с 1534 г. — профессор Базельского университета (Швейцария).

«**Д о м а — д о б р ы й о т е ц с е м е й с т в а**». — Лютер и его единомышленники решительно отвергали celibat, т. е.

безбрачие католического духовенства. Против celibата Лютер прямо высказался в послании «К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния» (1520), сыгравшему большую роль в успешном развитии Реформации. В Виттенберге в бывшем августинском монастыре в кругу жены и детей протекала семейная жизнь Лютера.

«К а к х у д о ж и н и к и п о э т». — В творческом наследии Лютера значительное место занимают его евангелические гимны, принадлежащие к числу самых замечательных памятников немецкой поэзии XVI в. По мнению Генриха Гейне, именно с поэзии Лютера ведет свое начало новая литературная эра Германии.

Стр. 164

А я к с — храбрейший после Ахилла греческий воин, участник Троянской войны, отличавшийся могучим сложением. Ему удалось вырвать из рук врагов тело Ахилла, но когда оружие павшего Ахилла было вручено не ему, а «хитроумному» Одиссею, пришедший в неистовство Аякс наложил на себя руки. Софокл посвятил его гибели трагедию «Неистовый Аякс».

Стр. 165

Р и м с к а я к у р и я (находится в Ватикане) — папская администрация, управляющая католической церковью.

Стр. 166

С о б о р с в я т о г о П е т р а — грандиозный собор, воздвигавшийся в Риме Д. Браманте и другими зодчими на протяжении XVI и XVII вв. Здесь — олицетворение папского могущества.

Стр. 169

К у р с а к с е н — курфюршество Саксонское. Саксонские князья покровительствовали Лютеру. На территории княжества находился Виттенберг, ставший идейным центром лютеранства.

Стр. 173

Л у в е н — город в Брабанте, в котором в то время жил Эразм. Славился своим университетом, основанным в 20-х гг. XV в. Благодаря деятельности Эразма Лувенский университет стал одним из главных очагов гуманистического образования, с середины XVI в. превратился в оплот контрреформации.

Стр. 174

И о г а н н Р е й х л и н (1455—1522) — немецкий гуманист, выдающийся знаток древних языков, в том числе древнееврейского. Его содействия искали реакционные круги, требовавшие уничтожения всех еврейских религиозных книг. Рейхлин решительно отклонил их притязания, будучи противником религиозного фанатизма, а также видя в старинных еврейских книгах ценный источник по истории христианской культуры. Возгорелся шумный спор, разделивший культурную Европу на два враждующих лагеря. «Теперь весь мир, — писал гуманист Муциан Руф, — разделился на две партии: одна — за глупцов, другая — за Рейхлина». В самый разгар этой борьбы и появились написанные рядом гуманистов знаменитые «Письма темных людей», нанесшие сокрушительный удар противникам Рейхлина.

«П о с л е д о в а л п р и м е р у П е т р а». — Эразм намекает на апостола Петра, который, согласно евангельскому ска-

занию, в минуты большой опасности трижды отрекся от своего учителя Иисуса Христа.

Стр. 179

«С о ю з Б а ш м а к а» — тайная организация мятежного крестьянства в юго-западной Германии XV — начала XVI вв. На знамени мятежников был изображен крестьянский башмак — символ народной борьбы против феодального гнета.

Стр. 181

В и т т е н б е р г — город на Эльбе, местопребывание Лютера. Здесь он в 1517 г. к стенам городской церкви прибил свои 95 тезисов, направленных против торговли индульгенциями. Здесь же в конце 1520 г. он сжег папскую буллу, отлучавшую его от церкви.

С т а н ц ы В а т и к а н а (итал. stanze — комнаты). — Имеются в виду покои резиденции папы в Ватикане, расписанные великим итальянским художником Рафаэлем Санти (1483—1520) и его учениками. Среди фресок Рафаэля здесь находится одно из самых прославленных творений итальянского Ренессанса — фреска «Парнас».

Стр. 191

А л ь б и г о й с т в о, в а л ь д е н с т в о и г у с и т с т в о — еретические движения, начиная с XII в. потрясавшие католическую Европу. Церковь жестоко расправлялась с еретиками, бросавшими дерзкий вызов католическим догматам и установлениям. Подстрекаемые папским Римом, на альбигойцев, живших на юге Франции, напали в 1209—1229 гг. северофранцузские феодалы, превратившие цветущую страну в груды развалин. Жестокие преследования обрушивались также на валь-

денсов, равно отрицательно относившихся как к церковным, так и к светским феодальным властям. Характер великой народной освободительной войны приобрела борьба, развернувшаяся в первой половине XV в. в Чехии. По словам Ф. Энгельса, это была «национально-чешская крестьянская война против немецкого дворянства и верховной власти германского императора, носившая религиозную окраску». Несмотря на ряд блестящих побед, одержанных гуситами, народное чешское движение в конце концов было раздавлено реакционными силами.

Стр. 196

«Разговоры за просто» («Kolloquia familiaria») — первое авторизованное издание книги под названием «Формулы для обыденных разговоров» увидело свет в 1519 г. В дальнейшем вплоть до 1533 г. она пополнялась все новыми и новыми диалогами. Окончательное название книга получила в 1524 г. По своему характеру «Разговоры за просто» весьма разнообразны. Порой это живые жанровые сценки, порой — веселые фацетии и шванки¹, вырастающие из популярных анекдотов. Понятно, что Эразм, как и в других своих произведениях, выступает в них против религиозного фанатизма, монашеского невежества, за широкий свободный взгляд на вещи, за человечность и порыв к плодотворному знанию.

Иоганн Эколампадий (1452—1531) — гуманист, автор древнегреческой грамматики, принимал участие в работах Эразма, был сторонником Реформации. Беат Ренаи

¹ Занимательные истории на латинском (фацетии) и немецком (шванки) языках.

(1485—1547) — гуманист, написавший «Три книги германской истории», посвященные древнему периоду. И о г а н н А м е р б а х (1444—1514) — базельский книгоиздатель, друг гуманистов, в содружестве с Иоганном Фробеном издававший сочинения древних и новых авторов. Другом и единомышленником гуманистов был также и его сын Бонифаций (1495—1562) — известный правовед. В течение ряда лет Эразм поддерживал близкие отношения с Амербаховым домом.

Стр. 199

Согласно библейскому сказанию, юный Давид убил великана из племени филистимлян Голиафа, насмешливо вызывавшего на единоборство смельчаков.

Стр. 203

В христианской мифологии архангел Михаил считался архистратигом, то есть военачальником небесных сил.

А л к и в и а д (V в. до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, ученик философа Сократа. Прожил бурную, исполненную превратностей жизнь.

Стр. 205

П и л а д — в греческой мифологии самоотверженный друг Ореста, сына Агамемнона, не оставлявший его в беде и испытаниях.

Стр. 206

В своих сатирических диалогах Ульрих фон Гуттен возродил жанр сатирического диалога, с замечательным блеском

разработанный великим древнегреческим писателем *Лукианом* (около 117—около 190).

Стр. 219

«*Августински-строгое учение*». — Отвергая учение о свободе воли и развивая теорию спасения верой, Лютер опирался на воззрения Блаженного Августина (354—430), одного из наиболее влиятельных богословов западноевропейской церкви, согласно которым только неисповедимая воля всевышнего может удостоить человека благодати.

Стр. 224

Имеются в виду *Томас Мюнцер* и его единомышленники, проповедовавшие идеи уравнительного утопического коммунизма.

Стр. 226

Великий Маккавей, *Иуда Маккавей* — вождь народного восстания в Иудее (167 до н. э.), направленного против гнета сирийского царя Антиоха IV. Одержал ряд побед, захватил Иерусалим, заключил союз с Римом. Погиб на поле боя в 161 г. до н. э. Библейский Маккавей, о котором повествуют «*Книги Маккавейские*», служит олицетворением смелости, стойкости в борьбе за веру и независимость.

Стр. 241

Аугсбургский рейхстаг. — Имеется в виду аугсбургский рейхстаг 1530 г., на котором была сделана попытка восстановления политического и религиозного единства империи.

Стр. 242

Каносса — замок в северной Италии. Сюда в 1077 г. на поклон к папе Григорию VII явился отлученный от церкви и низложенный германский император Генрих IV. В одежде кающегося грешника простоял он три дня у стен Каноссы, добиваясь приема у папы.

Разграбление Рима. — В 1527 г. войска Карла V ворвались и разграбили папский Рим. В то время папа Климент VII в сложной династической борьбе поддерживал французского короля.

Стр. 243

Перекрестцы (анабаптисты) — возникшая в XVI в. в Германии секта. Одним из вождей ее был Т. Мюнцер. Секта являлась наиболее радикальным народным крылом реформационного движения. От Реформации перекрестцы ожидали коренного переустройства мира на основе равенства и справедливости.

Густав Фрейтаг (1816—1895) — немецкий романист, драматург, поэт и историк.

Стр. 253

Ориген (185—253) — философ и теолог, апологет христианства, которое в его трудах соединялось с чертами языческого платонизма.

Стр. 254

Иов — согласно библейскому сказанию («Книга Иова»), желая испытать благочестие Иова, бог лишил его богатства,

детей и здоровья. И хотя все отшатнулись от нищего страдальца, покрытого язвами и струпьями, верные друзья остались при нем, утешая его и вразумляя.

Стр. 257

Николо Макиавелли (1469—1527)—итальянский историк, драматург, политический деятель и писатель. Его трактат «Государь» (1513), приобретший мировую известность, содержал мысли и идеи, получившие название «макиавеллизма». Полагая, что только сильная неограниченная власть может спасти Италию от иноземного гнета и разрушительных внутренних междоусобиц, Макиавелли готов оправдать любые средства, если они только служат укреплению этой власти и осуществлению намеченных целей.

Стр. 258

Фома Аквинский (1225—1274) — крупнейший представитель схоластической философии средних веков. Его взгляды на политику и государство изложены в трактате «О правлении государей».

Стр. 262

Мишель Монтень (1533—1592) — французский философ-гуманист, автор «Опытов» (1580—1588, посмертное издание 1595), основным предметом которых являлся человек в многообразии его природных возможностей.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Б. И. Пуришев.</i> <i>Об Эразме Роттердамском, его времени</i> <i>и книге Стефана Цвейга</i>	7
ПРИЗВАНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ	29
ВЗГЛЯД НА ЭПОХУ	49
МРАЧНАЯ ЮНОСТЬ	59
ОБЛИК	87
ГОДЫ МАСТЕРСТВА	105
ВЕЛИЧИЕ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ГУМАНИЗМА	127
МОГУЧИЙ ПРОТИВНИК	151
БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ	191
ВЕЛИКИЙ СПОР	213
КОНЕЦ	237
ЗАВЕЩАНИЕ ЭРАЗМА	257
Примечания	264

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Стефан Цвейг

**ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО**

ИБ № 1582

Ответственный редактор
И. Ф. Скороходова
Художественный редактор
А. Б. Сапрыгина
Технический редактор
В. К. Егорова
Корректоры
Л. М. Агафонова и К. И. Каревская

Сдано в набор 14/1 1977 г. Подписано к печати 5/VII 1977 г. Формат 70 × 108^{1/32}. Бум офс. № 1. Печ. л. 9. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 8,16. Тираж 75 000 экз. Заказ № 321. Цена 85 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Цвейг Стефан
Ц 26 Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. Пер. с нем. М. Харитонова. Вступит. ст. и примеч. Б. Пуришева. Рис. Л. Зусмана. Шрифт. оформл. Р. Коконовой. «Дет лит.», 1977.

286 с. с ил.

Книга о великом гуманисте эпохи Возрождения Эразме из Роттердама.

Перевод дается с незначительными сокращениями.

1 + И (Австр)

70803—426
Ц ————— 308—77
M101 (03)77